

А. Ф.  
ПИСЕМСКИЙ

*Избранное*



# Алексей Феофилактович Писемский

## Комик

«Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж.. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато мебелированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косоного господина, который ему возражал...»

# Содержание

I Собрание любителей . . . . .	0005
II Комик и антрепренер . . . . .	0028
III Вечер испытательного чтения . . . . .	0055
IV Первая репетиция . . . . .	0080
Vхлопоты антрепренера . . . . .	0101
VI Рымовы и их прошедшее . . . . .	0118
VII Спектакль . . . . .	0127
VIII Ужин артистов . . . . .	0145
IX . . . . .	0158
Примечания . . . . .	0160

**Алексей Феофилактович  
Писемский  
Комик  
*Рассказ***

# I Собрание любителей

Нижеследующая сцена происходила в небольшом уездном городке Ж.. Аполлос Михайлыч Дилетаев, сидя в своей прекрасной и даже богато меблированной гостиной, говорил долго, и говорил с увлечением. Убедительные слова его были по преимуществу направлены на сидевшего против высокого, худого и косоного господина, который ему возражал. Прочие слушатели были: молодая девица, чрезвычайно мило причесанная, – она слушала очень внимательно; помещавшийся невдалеке от нее толстый и плешивый мужчина, который тоже старался слушать, хоть и зевал по временам; наконец, четвертый – это был очень приятный и очень искренний слушатель; с самою одобрительною улыбкою он внимал то Аполлосу Михайлычу, то косому господину, смотря по тому, кто из них говорил. Были, впрочем, еще двое собеседников, но они совершенно не прислушивались к общему разговору, сидели вдали от прочих и,

должно быть, пересмеивали тех. Это были: молодая дама, стройная и нарядная, и молодой человек, тоже стройный и одетый с большими претензиями на франтовство.

Толстый мужчина был местный судья – Осип Касьяныч Ковычевский, человек, говорят, необыкновенно практически умный и великий мастер играть в коммерческие игры; приятный слушатель – Юлий Карлыч Вейсбор. Он был очень любим всем обществом, но, к несчастью, имел огромное семейство и притом больную жену, которая собственно родинами и истощена была: у них живых было семь сыновей и семь дочерей; но что более всего жалко, так это то, что Юлий Карлыч, по доброте своего характера, никогда и ничего не успел приобрести для своего семейства и потому очень нуждался в средствах. Нарядная дама приехала в город лечиться. Это была прелестная женщина, – немного, конечно, важничала и все бредила столицею, в которой была всего один раз, и то семи лет, но, вероятно, это проистекало оттого, что она имела значительное состояние. Сидевший рядом с нею молодой человек приходился хозяину

племянником и служил в Петербурге в каком-то департаменте писцом, а теперь приехал на три месяца в отпуск. Он тоже очень восхищался столичною жизнью. Молодая девица была его родная сестра; она воспитывалась и постоянно жила у Аполлоса Михайлыча. Что касается до сего последнего, то все его знакомые о нем говорили, что он был человек большого ума, чрезвычайной начитанности, высшего образования и весьма приятного обращения. Имея значительное состояние, он жил всегда в обществе, но не сходил с ним в главных интересах; то есть решительно не играл в карты, смеялся над танцевальными вечерами, а занимался более искусствами и сочинял комедии. Ко всему этому я должен прибавить, что, несмотря на свой пятидесятилетний возраст, Дилетаев был еще очень любезен с дамами и имел кой-какие виды на одну вдову, Матрену Матвевну Рыжову. Косой господин был тоже любитель театра, но только собственно трагедии и драмы. Он слыл в обществе за чудака, но, впрочем, имел порядочное состояние, держал музыку и был холостяк, – имя его Никон Семеныч Рагузов.

Спор между хозяином и косым господином зашел очень далеко: оба они начали даже кричать.

– Дикая и варварская мысль! – произнес косой гость.

– Я с вами уже более не спорю, вы неизлечимы, – отвечал хозяин, – а спрошу вашего мнения, господа.

– Я совершенно с вами согласен, – отвечал приятный слушатель.

– А вы? – спросил Аполлос Михайлыч, обращаясь к плешивому мужчине.

– Вы говорите насчет комедии? – спросил тот.

– Да, насчет комедии. Я говорю, что это тоже высший сорт искусства.

– Ваша правда, действительно высший сорт.

Косой господин вскочил.

– Драмy-то вы, милостивые государи, – воскликнул он, – куда деваете? Как вы драмy-то уничтожаете с вашей комедией?

– Опять вы не понимаете того, что вам говорят, – возразил хозяин. – Никто и не думает уничтожать вашей драмы. Мы сами очень



любим и уважаем драматические таланты; но в то же время понимаем и комедию, говорим, что и комедия есть тоже высокое искусство.

– Да, искусство, но только балаганное, – заметил насмешливо косой господин.

Хозяин покатился со смеху.

– Ну, Никон Семеныч! – сказал он, махнув рукою. – Вы говорите такие уморительные вещи, что вам даже и возражать нечего, а надобно только смеяться.

Никон Семеныч побледнел.

– Смеяться я сам умею громче вашего, но не смеюсь, хотя ваши мнения и дерут мне уши, – возразил он.

– Мои мнения не могут драть ничьих ушей, – перебил хозяин, – я их высказывал в столицах, и высказывал людям, понимающим театр. И наконец: я мои мнения, Никон Семеныч, печатал и даже советовал бы вам их прочесть – они во многом могут исправить ваши понятия.

– Я уж стар учиться, особенно по вашим печатным мнениям.

– Учиться никогда не поздно... Вот это мне

в вас и неприятно: вместо того, чтобы хладнокровно рассуждать о нашем деле, вы припугиваете вашу личность и говорите потом дерзости! Я, конечно, вам извиняю, потому что вы человек энергический, с пылкими страстями и воображением, одним словом – бог вам судья – вы трагик, но, во всяком случае, не мешайте дела с бездельем.

– Кто ж вам мешает? Что вы хотите этим сказать? – перебил косой господин. – Вам самим было угодно пригласить меня сегодня на вечер, и я, кажется, сейчас же могу освободить вас от моего присутствия.

– То-то вот и есть, что вы все сердитесь, а хорошенько не хотите выслушать, – возразил Аполлос Михайлыч. – Дело наше очень просто и не головоломно: мы затеваем благородный спектакль – во-первых, для собственного удовольствия, во-вторых, для удовольствия наших знакомых и, наконец, чтобы благородным образом сблизить общество и дать возможность некоторым талантам показать себя; но мы прежде всего должны вспомнить, что у нас очень бедны материальные средства: у нас нет залы, мало денег, очень непо-

лон оркестр. Приняв все это в расчет, мы и говорим, что должны играть какую-нибудь хорошую, но немногосложную комедию. Справедливо ли я, господа, говорю? – заключил хозяин, обращаясь к слушателям.

Господа, за исключением косого, кивнули в знак согласия головою.

– Играйте бессмысленные водевили, кто вам мешает! – произнес Никон Семеныч.

– Нет-с, мы не водевили будем играть, но, как люди образованные, можем сыграть пьесы из хорошего круга. Я предлагаю мою комедию, которую все вы знаете и которая некоторым образом одобрена вами, а в заключение спектакля мы дадим несколько явлений из «Женитьбы» Гоголя – пресмешной фарс, я видел его в Москве и хохотал до упаду.

– Я не могу участвовать, – сказал трагик.

– Отчего же не можете? Для вас именно в этом-то фарсе и есть прекрасная роль, которую вы отлично сыграете. Это роль Кочкарева – этакое живого, смешного чудака. В вас самих много живости и развязности: говорите вы вообще громко и резко.

– Благодарю вас за определение моего ам-

плуа, – перебил обиженно-насмешливым голосом трагик, – но только я не принимаю на себя этой чести. Дураков я никогда не играл и не понимаю их, да и не знаю, стоит ли труда заниматься этими ролями.

– Я одного только не понимаю, – начал хозяин, – о чем вы беспокоитесь. Я прежде вам говорил и теперь еще повторяю, что собственно для вас мы согласны поставить сцену или две из «Гамлета», например, сцену его с матерью: комната простая и небольшая; стоит только к нашей голубой декорации приделать занавес, за которым должен будет кто-нибудь лежать Полонием. Дарья Ивановна сыграет мать; вы – Гамлета, – и прекрасно!

– Что вы такое говорите, Аполлос Михайлыч, я сыграю? – спросила сидевшая вдали дама.

– Я говорю, что вы сыграете, в сцене с Никоном Семенычем, Гертруду, мать Гамлета.

– Помилуйте, я ничего не умею играть! Клянусь вам честью, я с первого же слова расхожусь до истерики.

– Вы будете смеяться, а этот господин плакать, – это будет удивительно эффектно, – за-

метил шепотом сидевший около нее молодой человек.

– Нет, вы уж не извольте отказываться! Вы сыграете, и сыграете отлично, – возразил хозяин. – Ваша наружность, ваши манеры – все это как нельзя лучше идет к этой роли.

Трагик, слушавший эти переговоры с нахмуренным лицом, встал и взялся за шляпу.

– Куда же вы? – спросил хозяин.

– Нужно-с домой, – отвечал гость.

– Вы все сердитесь, но за что же? Для вас уж есть пьеса, где вы можете себя показать.

– Я не хочу себя показывать в какой-нибудь выдернутой сцене, в которой я должен буду плакать, а на мои слезы станут отвечать смехом.

– Но согласитесь, любезный Никон Семенович, по крайней мере с тем, что не можем же мы поставить целую драму.

– Я против этого и не спорю. Нельзя поставить драму, а я не могу играть; потому что мое амплуа чисто драматическое и потому что я с вами никогда не соглашусь, чтобы ваша комедия была высший сорт искусства.

– Об этом я уже с вами говорить не хочу. В

этом отношении, как я и прежде сказал, вы неизлечимы; но будемте рассуждать собственно о нашем предмете. Целой драмы мы не можем поставить, потому что очень бедны наши материальные средства, – сцены одной вы не хотите. В таком случае составимте дивертисман, и вы прочтете что-нибудь в дивертисмане драматическое, например, «Братья-разбойники» или что-нибудь подобное.

– Кто же будет играть других разбойников? – спросил трагик, которому, видно, понравилась эта мысль.

– В разбойниках мы не затруднимся. Разбойниками могут быть и Юлий Карлыч, – произнес хозяин, указывая на приятного слушателя, – и Осип Касьяныч, – прибавил он, обращаясь к толстому господину, – наконец, ваш покорный слуга и Мишель, – заключил Аполлос Михайлыч, кивнув головой на племянника.

– Эта роль без слов, mon oncle?[1] – спросил тот.

– Конечно, без слов, – отвечал хозяин.

– Всякую бессловесную роль я принимаю на себя с величайшим удовольствием, и даже

отлично сыграю, – отнесся молодой человек к молодой даме и захохотал.

– Вот вам и целая коллекция разбойников, – продолжал с удовольствием хозяин. – В задние ряды мы даже можем поставить людей, чтобы толпа была помноголюднее.

– Дело не в том, – возразил Никон Семеныч. – Мне кажется, что эффекту мало будет; неотчего ожидать этих прекрасных драматических вспышек.

– Что это вы говорите, – воскликнул Аполос Михайлыч, – как нет драматических вспышек, когда вся пьеса есть превосходная драматическая вспышка! Сумейте только, почтеннейший, как говорит Фамусов, прочесть ее с чувством, с толком, с расстановкой...

– За этим дело не станет. Прочитать мы прочитаем, – отвечал Рагузов, – но я боюсь еще, как публика поймет. Кто у нас будет публика?

– Публика поймет, – отвечал хозяин, – потому что публика в этом деле всегда и везде самый справедливый судья. Эту мысль я высказал даже в моей статье о В.....м театре. Сверх того, у нас будут люди и понимающие

нечто, например: Александр Александрыч с семейством, Веснушкин, чудака Котаев. Эти люди, Никон Семеныч, видят далеко! В дивертисмане вашем Дарья Ивановна пропоет своим небесным голоском свой *chef d'oeuvre*[2] – «Оседлаю коня»[3]; Фани протанцует качучу.

– Я ее, *mon oncle*, совсем забыла, – проговорила молодая девушка.

– Ты не могла ее, моя милая, забыть, – возразил Аполлос Михайлыч, – потому что ты только прошлого года изучила ее в Москве. Впрочем, застенчивость в этом отношении, *mon ange*[4], даже смешна.

– Но, *mon oncle*, я не балетчица, а актриса.

– Все это я очень хорошо знаю, *chere Fany* [5]; но все-таки тебе стоит только вспомнить то соло, которое ты танцевала в Москве в благородном балете, то и этого уже будет весьма достаточно, а кроме того, ты не должна уже отказываться и потому, что это необходимо для полноты спектакля.

Трагик, все еще остававшийся в дурном расположении духа, встал.

– Доброй ночи, – сказал он.

Хозяин начал было его упрашивать доси-



деть артистический вечер, но гость уехал.

– Удивительно, какого несносного характера! – сказал Аполлос Михайлыч, пожав плечами, по уходе трагика. – Не глупый бы человек, но с самыми неприятными странностями – всегда и везде хочет, чтобы делалось по его. По способностям своим – комический актер, и даже актер недурной, а воображает себя трагиком, и трагиком вроде Мочалова. Когда ему начнешь что-нибудь говорить или читать, он никогда и ничего не слушает, а требует только, чтоб его чтением восхищались. Недели две тому, кажется, назад явился ко мне с своим Шекспиром – такие маленькие синенькие книжки[6] – и начал читать – просто сделал пытку! Вообразите себе – слушать двенадцать часов прозу, произносимую самым неприятным прононсом и сопровождаемую самыми резкими движениями!

– Я говорила вам, mon oncle, чтобы вы его не приглашали, – заметила племянница.

– Нельзя, мой друг! Во-первых, его музыканты: не пригласи – осердится и не даст оркестра, а без музыки, ты сама знаешь, спектакля не бывает; а во-вторых, он и актер поря-

дочный. Впрочем, господа, лучше потолкуемте о деле; позвольте мне представить вам маленький ярлычок. – Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч вынул из кармана небольшую бумагу и продолжал: – В пиесе моей роль виконта играю я; гризетку – Фани, – она эту роль прекрасно изучила; нечего конфузиться!.. Я в этом деле строг: дурно, так дурно, а хорошо, так хорошо; на роль маркизы я приглашу Матрену Матвевну – немного чересчур полна, но это ничего: она довольно ловка! Потом-с: некоторые сцены «Женитьбы». Вот тут маленькая заковычка: действующих лиц много – нынешние писатели вообще любят толпу, которая только в больших труппах возможна. Между нами сказать, я бы этой пиесы никогда не поставил: какой-то тривиальный фарс... смешна и больше ничего; но мне хочется это сделать для столицы – в Москве она очень всех смешила; придется, может быть, своим знакомым написать, что у нас был спектакль, давали «Женитьбу», там этого и довольно: все восхитятся! В этой шутке я думаю раздать роли таким образом: невесту будет играть Фани, сваху – Матрена Мат-

вевна, она будет чуднейшая сваха! Экзекутора сыграете вы, Осип Касьяныч.

– Нет уж, Аполлос Михайлыч, меня, сделайте милость, освободите: я, право, никогда не игрывал на театрах и вовсе никакого желания не имею-с, – отвечал тот.

– Полноте пустяки говорить, мой почтеннейший, – возразил хозяин. – Роль маленькая: на каких-нибудь трех страницах. Моряка сыграет Юлий Карлыч. – Эта роль очень добрая: лицо надобно иметь веселое, с приятной этакой улыбкой. Она очень будет вам по характеру. Кочкарева сыграет наш великий трагик, а Мишель – Анучкина.

– А тут, mon oncle, надо будет говорить? – спросил племянник.

– Разумеется.

– В таком случае, слуга покорный, я решительно отказываюсь от всех словесных ролей, – отвечал Мишель.

– Нет, ты не можешь отказаться, если я этого хочу.

– Помилуйте, mon oncle! Вы захотите, чтобы я на канате плясал, – возразил племянник, – так и должен я лезть на канат и сло-

мать себе голову?

– И очень бы хорошо сделал, если бы в самом деле сломал и достал бы где-нибудь поисправнее!.. Как ты можешь не хотеть участвовать в том деле, в котором участвует все общество, в котором, наконец, участвуют твоя сестра и дядя?

– Что ж такое сестра и дядя? – возразил Мишель.

– Как что такое сестра и дядя?.. Ах, ты, бессмысленный повеса! Для него ничего не значат сестра и дядя; да сам ты что за великий человек? Не потому ли разве, что в департаменте бумаги подшивать выучился, невежа глупый?

– Вы можете сердиться, сколько вам угодно, а я не буду играть, – сказал молодой человек и ушел в залу.

– Дело в том, господа, – начал, поуспокоившись, хозяин, – нам недостает актера на главную роль – на Подколесина. Я вот третью ночь не сплю и все думаю об этом; намекнул было сначала на Харитонову, по наружности бы очень шел: толст, неуклюж, лицо такое дряблое – очень был бы хорош; нарочно даже

в деревню к нему ездил, но неудача: третью неделю в водяной умирает. Хотел было напасть на учителя арифметики – тоже был бы приличен, – смирный, тихий, но отказывается, – говорит, что ничего не может сыграть, особенно в дамском обществе. Хотел было завербовать аптекаря, наружностию тоже подходит к роли и играть бы согласился с удовольствием, но, к несчастью, по-русски ужасно дурно говорит, да и от природы картав.

– Я знаю одного актера, – заговорил Юлий Карлыч, – только угодно ли будет вам его принять?

– Сделайте милость!.. Почему же не принять? – возразил Аполлос Михайлыч.

– Слабость имеет большую: пьяница, говорят, и пьяница-то запойная.

– Что же он по крайней мере за человек? – спросил хозяин.

– Человек он не важный, здесь в питейной конторе служит.

– Каким же образом вы узнали, что он хороший актер?

– Нынче летом у меня Саша из гимназии приезжал, так сказывал, что он где-то на ве-

чере, подгуляв, что ли, читал им какое-то сочинение: так, говорит, уморил всех со смеху. Саша даже мне все его передразнивал.

– Нельзя ли мне как-нибудь показать его? Я бы испытал его на Подколесине.

– В этом-то и трудность, Аполлос Михайлыч, он ведет очень странную жизнь: или сидит дома около жены, которой, говорят, ужасно боится, или безобразно пьян.

– Господи боже мой, какое несчастье! По крайней мере можно ли его каким-нибудь образом вызвать из дому трезвого? Не целый же день он пьян.

– Вы напрасно, Юлий Карлыч, – вмешался в разговор Осип Касьяныч, – даете Аполлосу Михайлычу такой совет. Вы, вероятно, говорите о Рымове? Помилуйте, я его знаю: он человек совершенно потерянный; я полагаю, что это даже будет неприлично и, вероятно, дамам неприятно.

– Как это сказать, Осип Касьяныч, – возразил хозяин, – что будет неприлично и неприятно дамам? В искусстве не должно существовать личностей.

– Как вам угодно, Аполлос Михайлыч, я

сказал только мое мнение.

– Очень вам благодарен; но мы теперь рассуждаем не о том, что это за человек, а какой он актер.

– Актер превосходный, мне Сашенька сказывал, – подхватил Юлий Карлыч.

– Много ваш Сашенька понимает, – перебил Осип Касьяныч.

– Да я ничего и не говорю и сказал только свое мнение. Моего Сашеньку тут вам трогать нечего.

– Вас никто с вашим Сашенькой и не трогает, а говорят о Рымове да о дамах, которые не захотят с ним играть.

– Нет, Осип Касьяныч! При всем моем уважении к вам, я должен сказать, что вы говорите не дело. Наши дамы выше этих мелочей, – перебил хозяин.

– Как вам угодно, – отвечал судья, – ваше дело.

В залу, куда ушел молодой человек, вскоре за ним вышла и молодая дама.

– О чем вы мечтаете? – спросила она, подходя к нему.

– Я не мечтаю, но взбешен на этого старого

хрыча.

– Не сердитесь на него, он вас любит.

– Sacre Dieu![7] Что мне в его любви?.. Помешался сам на театре и хочет всех сделать актерами. Очень весело учить какую-нибудь дрянь наизусть, пачкать лицо и тому подобные делать глупости.

– Что ж такое? – Ничего, зато все общество будет вместе. На репетициях будет очень приятно: мы с вами будем сидеть, разговаривать, смеяться.

– Да, конечно, в таком случае это будет очень приятно, но я думал, что вы не захотите играть.

– Нет, отчего же не играть? Съезжаемся же на вечера. Роли, конечно, я не стану учить, а выйду да постою.

– Вам можно это делать, Дарья Ивановна, но меня он будет заставлять учить и ломаться.

– А вы не учите, выйдите, постоит, да и уйдите.

– Я с ним сделаю штуку. На репетициях буду, а как надобно будет играть, и притворюсь больным. Ах, только как я посмотрю, какая у



вас здесь, против Петербурга, ужасная жизнь: ни воксалов, ни собраний, ни гуляньев, а только затевают какие-то дурацкие театры.

– Что делать! Провинция. Что нынче больше танцуют в Петербурге?

– Перед моим отъездом вошла в моду полька tremblante.

После этого разговора дама скоро уехала, а молодой человек ушел к себе в комнату.

Два собеседника Аполлоса Михайлыча, судья и Юлий Карлыч, несмотря на происшедшую между ними маленькую размолвку, вместе простились с хозяином, вместе вышли и даже сели в один экипаж.

– Ну, оттерпелся! – произнес Осип Касьяныч. – Дает же бог таким скотам состояние, – продолжал он, – вместо того чтобы тешить общество приличным образом, давать бы, при таких средствах, обеда, вечера картежные, так нет, точно белены объелся: театр играть вздумал; эких актеров нашел; а поди откажись, так еще неприятность какую-нибудь сделает. Вот сегодня надо было у Алмазова партию составить, – вот тебе и партия, просидел на дурацком вечере, да и только... Обоих

бы их с Рагузовым на одну осину, проклятых, повесить; тот хоть по крайней мере сам благует, а этот еще других ломаться заставляет на его потеху. Удивительно, какое скотство!

– Уж не говорите лучше, Осип Касьяныч, – произнес Юлий Карлыч, – вон у меня жена больна; письмо надобно было писать, а что делать – просидел вечер.

– Ну, уж и вы-то хороши с вашим смешным характером: актера там ему приискали – какого-то пьяницу. Я молил бога, чтобы и те-то разбежались, а вы еще новых отыскиваете.

– Нельзя, почтеннейший, ей-богу, нельзя! Войдите вы в мое положение! На прошлой неделе занял у него триста рублей: вы сами вот говорите, что нельзя отказать, потому что неприятности станет делать.

Фани более всех сочувствовала дяде; она, еще при гостях, ушла в наугольную комнату и при лунном свете начала повторять качучу, которую должна была танцевать в дивертисмане.

Никон Семеныч, приехав домой, тотчас же взялся за поэму Пушкина «Братья-разбойники». Сначала он читал ее про себя; потом, оду-

шевившись, принялся произносить вслух и затем, вскочив, воскликнул:

*О юность, юность удалая!  
Житье в то время было нам,  
Когда, опасность презирая,  
Мы все делили пополам.*

Единственный зритель его декламации, огромная легавая собака, смотревшая сначала на господина своего какими-то ласковыми глазами, на этом месте, будто бы вместо аплодисмана, начала на него лаять; но трагик не обратил внимания, продолжал и закончил всю поэму вслух.

## Комик и антрепренер

**Р**ЫМОВ, о комическом таланте которого так выгодно отзывался Юлий Карлыч, был такое незначительное в городе лицо, что о нем никто и нигде почти не говорил, а если кто и знал его, то с весьма невыгодной стороны: его разумели запойным пьяницей. В контору и обратно он ходил почти всегда в сопровождении жены, которая будто бы дома держала его на привязи; но если уж он являлся на улице один, то это прямо значило, что загулял, в это время был совершенно сумасшедший: он всходил на городской вал, говорил что-то к озеру, обращался к заходящему солнцу и к виднеющимся вдали лугам, потом садился, плакал, заходил в трактир и снова пил невероятное количество всякой хмельной дряни; врывался иногда насильно в дом к Нестору Егорычу, одному именитому и почтенному купцу, торгующему кожами, и начинал говорить ему, что он мошенник, подлец и тому подобное. Его, разумеется, вытал-

кивали, и таким образом он шлялся весь день, жалкий и безобразный, до тех пор пока не ловила его Анна Сидоровна (его жена) и не уводила с помощью добрых людей домой. Что она потом предпринимала, неизвестно, но только Рымов исправлялся и начинал ходить опять в контору. В трезвом состоянии он был очень молчалив и отчасти суров; с товарищами и подчиненными почти не говорил ни слова и даже главному управляющему и самому откупщику отвечал только на вопросы.

На другой день после собрания любителей в самом отдаленном конце города, в маленьком флигельке, во второй его комнате, на двухспальной кровати лежал вниз лицом мужчина, и тут же сидела очень толстая женщина и гладила мужчину по спине. Это была чета Рымовых.

– Витя, а Витя! Опять с тобою, мамочка, тоска; разве не проходит от глаженья? У тебя прежде от этого проходило, – говорила Анна Сидоровна.

– Прошло... лучше... поди, Анюта, – проговорил Витя.

– А ты пойдешь со мной? – спросила та.

– Нет, я полежу, устал что-то.

– Ну, так и я здесь посижу.

– Нет, ступай! Мне жарко от тебя.

– Завтра я, мамочка, непременно схожу к  
лекарю и попрошу у него чего-нибудь для те-  
бя. Как тебе не стыдно так запускать болезнь?

– Ну, ладно, ступай!.. Поди, пожалуйста,  
сделай мне к обеду окрошки.

– Да как же ты, мамочка, останешься один?  
Тебе будет скучно!

– Ничего... я полежу... поди, Анюта!

– Да, Витя, мне самой-то не хочется от тебя  
отойти.

– После насидишься – ступай, пожалуйста.

Анюта нехотя встала, чмокнула Витю в за-  
тылок и вышла. Тотчас же по уходе ее Рымов  
встал, потянулся в сел. Наружность его в са-  
мом деле была комическая: на широком, до-  
вольно, впрочем, выразительном и подвиж-  
ном лице сидел какой-то кривой нос; глаза  
слабые, улыбка только на одной половине,  
устройство головы угловатое и развитое на  
верхней части затылка.

– Еще год такой жизни, и я совсем сблагую:

черт знает, что такое эти женщины! Для мужчин хоть время, хоть возраст существует, а для них и того нет! Бабе давно за сорок, а она все нежничает – да еще и ревнует! Не глядел бы ни на что, право. Что я теперь за человек? – Пьяница и больше ничего: трезвый тоскую, а пьяный глупости творю... Опять разве на театр махнуть?.. Нет, черт возьми!.. Нет!.. – воскликнул уже вслух Рымов, махнув рукою, как бы желая отогнать от себя дьявольское наваждение. – Каково было у Григорьева-то в труппе? – продолжал он рассуждать сам с собой. – Да и публика-то хороша, нечего сказать: мерзавке Завьяловой хлопают да цветы кидают, а над тобой только смеются, да еще говорят, что мало играешь! Играй вот им в каждом дурацком водевиле, паясничай – так и хорошо. Что там ни говори, а старуха моя, право, лучше всех для меня: влюблена даже в мою физиономию – вот этого, признаюсь, я никак не понимаю. Ну, да, вправду, и она не красива лицом, а привык, удивительно привык!

Анюта возвратилась и с самою приятною улыбкою разостлала салфетку и поставила

окрошку. Все это она исполняла проворно, потому что, несмотря на полноту, была очень поворотлива и имела известную частоступчатую походку, с небольшим развальцем, как обыкновенно ходят ожиревшие сангвиники.

– Кушай, мамочка, я после пообедаю, – проговорила она.

Витя нехотя начал болтать в тарелке ложкою. Анна Сидоровна встала около него; одною рукою она подперлась в бок, а другою обняла шею мужа, – таким образом импровизированная живая картина была очень интересна. Представьте себе сидящего Рымова, с описанною мною физиономиею, и физиономиею, имеющею самое мрачное выражение, в засаленном и полуизорванном кашемировом халате, и обнимающую его – полную даму, с засученными рукавами. В положении Анюты было даже несколько кокетства: по крайней мере она как-то чрезвычайно странно свернула голову набок и очень нежно смотрела своими маленькими заплывшими глазами на мужа. Рымов съел несколько ложек, потом взглянул в висящее против него зеркало, улыбнулся, махнул рукой и встал.



- Что же ты, Витя, встал?
- Не хочу больше ничего.
- А чему ты, мамочка, смеешься?

– Так, ничему... Славные мы с тобой фигуры, – отвечал тот.

– Что же такое, мамочка! Ты хорош... право, хорош! Вон у тебя, душка, какой носик! Дай я тебе его поцелую... – И Анюта поцеловала носик. Рымов сделал гримасу.

– Странная ты баба, – проговорил он, качая головой и ложась опять на постель.

– Вот уж у тебя сейчас и странная: сам странный!

– Странен я, только не в том.

– А зачем же, когда я ездила в Кузмищево, так ты по мне тосковал?

– Ты почему знаешь?

– Мне один человечек сказывал.

– Соврал тебе человечек!

Анюта села опять на кровать, схватила Рымова за подбородок и вдруг поцеловала его.

– Перестань, сумасшедшая, выдумала с поцелуями... – проговорил тот с досадою, вставая с постели.

– Куда же ты, мамочка?

– Да так... все лижешься... молоденькая какая! Пусти... я ходить хочу.

РЫМОВ встал и начал ходить по комнате. Анна Сидоровна, сложив руки, следовала за ним глазами.

– Одного у нас, Витя, с тобою нет, право! Как бы это было, ты бы меньше скучал.

– Что такое?

– Детей, мамочка! Хоть бы одного в целую жизнь бог дал на радость!

РЫМОВ усмехнулся.

– Ты бы, мамочка, очень его любил?

РЫМОВ не отвечал.

– Вдруг, Витя, у нас родится что-нибудь?

– Перестань, пожалуйста, болтать – мелешь бог знает что. Бабе за сорок, а думает еще родить.

– Где же, Витечка, за сорок?

– Сколько же?

– Тридцать два года всего, – отвечала, потупившись, Анна Сидоровна.

– Ах ты, сумасшедшая! Сто лет замужем, и все ей тридцать два.

– Как же сто? Всего пятнадцать.

– Ну, пятнадцать! Да замуж вышла двадца-

ти пяти.

– Это кто вам сказал, что двадцати пяти! Всего семнадцать лет.

– Ну ладно: отвяжись!

– Ты все, мамочка, меня обижаешь; как над какой-нибудь дурой все смеешься. Изменял несколько раз, так уж, конечно, жена не может нравиться. Не скучайте, Виктор Павлыч! Может быть, нынешнюю зиму бог и приберет меня, будете свободны – женитесь, пожалуйста! Возьмете молоденькую, а я буду лежать в сырой земле.

При последних словах Анна Сидоровна заплакала.

– Тьфу ты, дурацкая баба, – проговорил Рымов и плюнул.

– Плюйте, Виктор Павлыч! Бог с вами, плюйте! Я давно уже вами оплеванная живу.

– Да ты хоть кого выведешь из терпенья: или целуется, как девчонка какая, или капризится. Ревность съела!.. К кому, матушка? И людей-то никого не вижу, – весь всегда перед тобой.

– А прежде-то что ты делал на этом мерзком театре? Прежде-то как изменял, – это за-

был?

– Ну да, как же! Очень всем нужно было меня. Тебе еще мало, что меня душит целые дни тоска, – мало этого, что бывают минуты хоть резаться, – произнес Рымов и бросился на кровать.

Несколько минут продолжалось молчание.

– Мамочка, что это ты говоришь! – начала Анна Сидоровна, вставая и подходя к мужу. – Зачем ты это говоришь? Я думаю, страшно.

– Страшно? Нет, моя милая, не умереть, а жить, как я живу, страшно.

Анна Сидоровна опять села на постель.

– Витечка! Что это такое? Я лучше сама за тебя умру!

Комик отворотился к стене и начал чрезвычайно впечатлительным голосом:

– «Умереть!.. Уснути!.. Но, может, станешь грезить в том чудном сне, откуда нет возврата, нет пришлецов!..»[8]

Анна Сидоровна сидела, подгорюнившись.

Послышался в сенях сильный стук.

– Кто-то, должно быть, приехал, – воскликнула Анна Сидоровна, вскочив.

– О, черт бы драл! – проговорил Рымов и за-

хлопнул дверь.

В первой комнате кто-то кашлял.

– Поди, мамочка, какой-то мужчина, – сказала Анна Сидоровна, заглянув в щелку.

Рымов с досадою надел пальто и вышел.

Перед ним стоял Аполлос Михайлыч.

Разговор несколько минут не начинался.

Дилетаев был поражен наружным видом комика, который действительно был очень растрепан; стоявшие торчками во все стороны волосы были покрыты пухом; из-под изношенного пальто, застегнутого на две только пуговицы, выбивалась грязная рубашка; галстука совсем не было; брюки вздернулись и тоже все были перепачканы в пуху.

– Честь имею кланяться, – заговорил, наконец, Аполлос Михайлыч, – не беспокоил ли я вас; вероятно, вы отдыхали после обеда?

– Да-с, – отвечал Рымов.

– Не знаю, нужно ли мне рекомендоваться вам, но, впрочем... Аполлос Михайлыч Дилетаев.

Хозяин поклонился, гость сел и, опершись на свою палку, начал следующим образом:

– Первоначально позвольте узнать ваше

имя и отечество?

– Виктор Павлыч.

– Вчерашний день, Виктор Павлыч, я имел удовольствие слышать о вас чрезвычайно лестные отзывы; но предварительно считаю нужным сообщить вам нечто о самом себе; я немного поэт, поэт в душе. Поэт, так сказать, по призванию. Не служа уже лет пять и живя в деревенской свободе, – я беседую с музами. Все это вам потому сообщаю, что и вы, как я слышал, тоже поэт, и поэт в душе.

– Я ничего не пишу.

– Да... но это все равно – вы актер!

Рымов покраснел.

– Я это хорошо знаю и поэтому решился обратиться к вам с предложением: не угодно ли вам принять участие в благородном спектакле, который будет у меня в доме?

Рымова подернуло.

– Я давно уж отстал и отвык, – произнес он.

– Не беспокойтесь, я эти вещи очень хорошо понимаю, – художник до самой смерти остается художником.

– Я не знаю-с, могу ли теперь за себя ругаться.

– Опять повторяю: не беспокойтесь! Мы имеем для вас превосходную роль. Это, знаете, такого дикого, застенчивого мужчину в пьесе «Женитьба», из которой дано будет несколько явлений. Сколько я могу вас понимать, то эта роль будет вам очень по характеру, и вы отлично ее выполните.

Рымов бледнел и краснел, как будто бы в эту минуту решалась участь его жизни. Он ничего не находил сказать и только перебирал дрожащими руками петли своего пальто.

– Я очень люблю театр, – сказал, наконец, он.

– Это я вижу по вашему лицу, – заметил Аполлос Михайлыч, – вы даже теперь взволнованы.

– Большой будет спектакль? – спросил хозяин, утирая катившийся с лица пот.

– Спектакль будет довольно большой и прекрасно составленный: в первую голову моя комедия: «Виконт и гризетка, или исправленный повеса», необыкновенно живая пьеска, из французских нравов. В ней всего три действующие лица: молодой виконт, ко-

торого я сам буду играть и который есть чистый тип шалуна-парижанина, и еще две женщины – одна из них гризетка, а другая маркиза. В первом действии он влюблен в гризетку и ненавидит маркизу, а во втором влюбляется уже в нее. Гризетка это узнает, застает его у маркизы, укоряет его; сама маркиза над ним смеется. Он сначала теряется, потом раскаивается и предлагает гризетке руку, а маркизе объявляет, что это ее побочная дочь. Пьеса эта, я, не хвастаясь, могу сказать, неоцененная вещь для благородных спектаклей, потому что актеры не могут иметь тех манер, которые нужны для сен-жерменских баричей. Потом «Женитьба», – об этой комедии, если хотите, я ничего не скажу особенно: написана она в очень тривиальном духе; я видел ее в Москве и, конечно, как знаток и судья строгий в этом деле, нашел в ней много недостатков, но при всем том хохотал до невероятности. Мы ее дадим для райка; у меня хоть и домашний спектакль, но публика будет всех сортов, потому что я это приятное удовольствие хочу разделить со всем городом, для которого оно может служить эрою



воспоминаний.

– Я знаю-с эту пиесу.

– Знаете? И прекрасно!

– Это гениальная комедия.

– Ну уж и гениальная, – высоко взяли, Виктор Павлыч! Впрочем, сейчас видно артиста в душе. Мне очень приятно это от вас слышать, хотя я и не согласен с вами; я классик, и гениальными творениями называю только классические пиесы.

– Она классическая.

– Ну что ж в ней классического? Классического-то в ней ничего нет. Во-первых, главного правила классицизма – единства содержания, в ней не существует; а без этого, батюшка, всякая комедия, как тело без души. Сведено несколько смешных, уродливых лиц, которые говорят между собою и, конечно, заставляют смеяться, но и только; эта пиеса решительно не для знатоков. Вы, впрочем, пожалуйста, не принимайте этого никак на свой счет, потому что, хоть и будете играть в этой комедии, но и в ней можете показать свой талант – золото видно и в грязи.

– Я очень рад играть в этой пиесе.

– А я более вашего.

На этом месте вышла Анна Сидоровна. Она все подслушивала. Лицо ее покрылось багровыми пятнами; кашемировый платок был надет как-то совсем уж накось. Гостью она присела, а на мужа взглянула: тот потупился.

– Итак, – проговорил Дилетаев, вставая, – когда же мы увидимся? Не могу ли я вас просить пожаловать ко мне сегодня вечером. У меня будет маленькое испытательное чтение: мы потолкуем, продекламируем наши пиесы и прочее. Вы не поверите, как хлопотливы эти театры! Его даже по одному этому можно назвать великим делом. Я про себя, например, могу сказать, что с молодых лет был поклонником Мельпомены – знаток и опытен в этом; но признаюсь, иногда голова идет кругом, особенно трудно ладить с участвующими; всем хочется сделать по-своему, а сделать-то никто ничего не умеет. Есть у меня сосед и приятель, Никон Семеныч Рагузов, страстный театрал; но, к несчастью, помешан на трагедиях. Вчера даже сделал мне сцену: требует все драмы; успокоили только тем, что ставим на сцену «Братья-разбойники». Одна-

ко до свиданья, – проговорил гость, раскланиваясь и пожимая у комика руку. – Надеюсь, сударыня, – прибавил он, обращаясь к хозяйке, – что и вы пожалуете посмотреть на наш спектакль и полюбоваться вашим супругом.

Анна Сидоровна ничего не отвечала; полная грудь ее колыхалась, или, лучше сказать, она вся была в сильном волнении.

Дилетаев заехал от Рымовых к Юлию Карлычу. Хозяин выбежал его встречать на крыльцо и, поддерживая гостя под руку, ввел на лестницу и провел в гостиную.

– Я отыскал вашего комика, – начал Дилетаев.

– Изволили отыскать? – воскликнул хозяин. – Простите меня великодушно, – продолжал он умоляющим голосом, – я сейчас было хотел, по вашему приказанию, ехать к нему, да лекаря прождал. Клеопатра Григорьевна у меня очень нехороша.

– Ничего, я уж съездил. Какая, однако, странная семья: в доме грязь... сырость... бедность... жена какой-то совершенный урод, да и сам-то: настоящий уж комик... этакой умерительной физиономии я и не видывал: обо-

рванный, нечесаный, а неглупый человек и буф должен быть отличнейший.

– Я докладывал ведь вам: необыкновенный, говорят, актер.

– Это видно даже по любви его к искусству. Представьте себе, только что я намекнул о театре, побледнел даже весь как полотно, глаза разгорелись и говорить уж ничего не может.

– Скажите, пожалуйста! Ну, да, впрочем, и честь для него велика – из каких-нибудь писарей быть приглашену в благородное общество – и это не безделица.

– Конечно. Приезжайте обедать.

– Клеопатра Григорьевна очень больна.

– Ну, что же такое? Вы не поможете.

– Конечно, Аполлос Михайлыч, – приеду-с.

От Вейсбора Дилетаев проехал к Матрене Матвевне, о которой я уже упоминал и с которой у него, говорят, что-то начиналось. По его назначению, она должна была играть в его комедии маркизу, а в «Женитьбе» сваху.

При всех своих свиданиях Аполлос Михайлыч с Матреной Матвевной имели всегда очень одушевленную беседу, потому что оба они любили поговорить и даже часто, не слу-

шая друг друга, торопились только высказать свои собственные мысли.

Едва только гость появился в зале, где сидела Матрена Матвевна, сейчас же оба вместе заговорили.

– Вхожу в храм волшебницы, с преклоненными коленами, с мольбою и просьбою, – произнес Аполлос Михайлыч.

– Это я знаю... все знаю... согласна и рада!.. Извиняюсь только, что вчера не могла приехать, потому что была в домашнем маскараде.

– Вы еще похорошели, Матрена Матвевна.

– А вы еще более стали льстец!

– Нет, какой я льстец – старик... хилый... слабый... я могу только в душе восхищаться юными розами и впивать их дыхание.

– Не старик, а волокита, льстец и повеса.

– Не верю, не верю обетам коварным, а буду умолять вас принять на себя роли, которые вы, конечно, превосходно сыграете, потому что отлично играете стариками. Я их сам для вас перепису.

– Давайте, я все выучу и сыграю. Когда вы состареетесь?

– Я уж и теперь старик!

Матрена Матвевна покатила со смеху.

– Ха, ха, ха... Он старик! Актер... поэт... он старик! Совсем все устроили?

– Почти совсем.

– Дарья Ивановна была?

– Да, – вчера была.

– Она играет?

– Должна.

– Она влюблена в вашего Мишеля.

– Она замужем.

– Что ж такое! Ах, каким постником притворяется, а сами что делаете?

– Я вдовый.

– Ну да, конечно, это оправдание. Отчего Фанечку не выдаете замуж?

– Женихов нет!

– Ну, что это вы говорите, – выдавайте!.. Право, грешно так девушку держать.

– Я, с своей стороны, согласен хоть сейчас; но никого в виду нет.

– А Рагузов! Она вам, право, связывает руки.

– Конечно, но он не сватается, да и чужды они как-то очень друг друга; может быть, те-

перь сблизятся. Он будет читать «Братья-разбойники», – пресмешной человек... О чем вы задумались?

– Так, что-то грустно... Что моя жизнь? Хожу, ем, сплю и больше ничего.

– От вас зависит...

Матрена Матвевна усмехнулась.

– Отчего ж от меня?

– Вы не любите стариков.

– Напротив, я только и люблю мужчин пожилых лет.

– Приезжайте-ка к нам обедать.

– Обедать?.. Хорошо.

Дилетаев начал прощаться. Хозяйка подавала ему свою белую и полную ручку, которую тот поцеловал и, расшаркавшись, вышел молодцом. Отсюда он завернул к Никону Семёнычу, которого застал в довольно странном костюме, а именно: в пунцовых шелковых шальварах, в полурасстегнутой сорочке и в какой-то греческой шапочке. На талии был обернут, несколько раз, яхонтового цвета широкий кушак, за которым был заткнут кинжал. При входе Аполлоса Михайлыча он что-то декламировал.

– Разбойник! Совершенный разбойник! – проговорил тот.

– Я всю ночь все обдумывал: надобно большое искусство, чтобы вышло что-нибудь эффектное, – говорил хозяин, протягивая руку.

– А костюм-то разве не эффектен? Да вы, мой милый, поразите всех одною наружностью.

– Мне хочется кое-что к поэме прибавить.

– Прибавляйте, пожалуй.

– Именно, прибавить в том месте, где говорится:

*Бывало, в ночь глухую  
Заложим тройку удалую,  
Поем, и свищем, и стрелой  
Летим над снежной глубиной.*

Я переделал так:

*Бывало, в ночь глухую,  
Тая в груди отвагу злую,  
Летим на тройке вороных,  
Потешно сердцу удалых!  
Мы, мразный ветер в себя вдыхая,  
О прошлом вовсе забывая,  
Поем, и свищем, и стрелой  
Летим над снежной глубиной.*



Это будет сильнее.

– Чудесно! Право, чудесно!.. Какого, батюшка, сейчас актера достал я, – чудо! Приезжайте обедать.

– Не знаю, поутру можно ли. Я думаю много переменить в пьесе.

– Ну, хоть вечером.

– Вечером буду.

Аполлос Михайлыч завернул также и к судье и здесь было получил неприятное известие: Осип Касьяны решительно отказывался играть, говоря, что он совершенно неспособен и даже в театре во всю свою жизнь только два раза был; но Дилетаев и слышать не хотел.

– Что вы там, почтеннейший Осип Касьяныч, ни говорите, как вы ни отказывайтесь, мы вам не поверим: вы будете играть и прекрасно сыграете, потому что вы человек умный, это знают все, и сегодняшней вечер пожалуйста ко мне.

У судьи вытянулось лицо.

– Хоть на сегодняшней вечер увольте меня, Аполлос Михайлыч, – проговорил он, – право, я даже все мои обязанности нарушаю с

этим театром.

– Вы ваших обязанностей никогда не нарушали, – этого никто о вас не смеет и подумать, – решил Дилетаев и, снова попросив хозяина не расстраивать отказом общее дело, уехал.

– Провалился бы ты с своими вечерами! Совсем сблаговал, дурак этакой, – проговорил ему вслед судья.

Дома Аполлос Михайлыч имел еще неприятную сцену с племянником, который тоже отказывался играть и на которого он так рассердился, что назвал его безмозглым дураком и почти выгнал из кабинета.

По отъезде Дилетаева Рымовы несколько времени не говорили между собою ни слова. Комик сел и, схватив себя за голову обеими руками, задумался. Приглашение Аполлоса Михайлыча его очень взволновало; но еще более оно, кажется, встревожило Анну Сидоровну. Она первоначально начала утирать глаза, на которых уже показались слезы, и потом принялась потихоньку всхлипывать.

– Это что еще такое? – сказал Рымов с досадою.

– Так... ничего... – отвечала Анна Сидоровна, – опять!.. – произнесла она и начала всхлипывать громко.

– Что опять?

– Опять!.. – отвечала она и заревела.

– Ах ты, дура... дура! – произнес, качая головой, Рымов, который, видно, догадывался, на что метит жена.

Анна Сидоровна продолжала плакать.

– Разбойник... душегуб! – говорила она рыдая. – Точно бес-соблазнитель приехал подмывать. Чтобы ни дна ни крыши ему, окаянному, – только бы им, проклятым, человека погубить.

Рымов усмехнулся.

– Чем же он погубит?

– Всем он вас, Виктор Павлыч, погубит, решительно всем; навек не человеком сделает, каким уж вы и были: припомните хорошенько, так, может быть, и самим совестно будет! Что смеетесь-то, как над дурой! Вам весело, я это знаю, – целоваться, я думаю, будете по вашим закоулкам с этими погаными актрисами. По три дня без куска хлеба сидела от вашего поведения. Никогда прежде не думала

получить этого. – Бабы деревенские, и те этих неприятностей не имеют!

– Все промолоча? – спросил Рымов.

– Нечего мне молоть! Давно я такая... давно уж вы в эти дела-то вдалились, так уж мне и бог велел разум-то растерять.

– Именно, давно уж ты из ума выжила; прежде – проста была, а теперь уж ничего не понимаешь. Вразумишь ли тебя, что театр – мое призвание... моя душа... моя жизнь! Чувствуешь ли ты, понимаешь ли ты это, безумная женщина?

– У вас все душа! Кто вас ни позови, – вам всякий будет душа, только жена не нравится.

Рымов махнул рукою.

– В пять лет бог дает удовольствие, так и то хочет отнять, – начал он.

Анна Сидоровна горько улыбнулась.

– Великое удовольствие: как над дураком будут смеяться! Видела я вас, Виктор Павлыч, своими глазами видела – и на человека-то не были похожи. Обманывать меня нечего, другого вам хочется.

– Чего же другого-то?

– Известно, чего все мужчины хотят.

– Ну да, конечно: красавец какой, – так и кинутся все!

– Кидались же ведь прежде.

– Ах ты, жалкое создание, в тебе целый дьявол ревности сидит, ты ничего не видишь, ничего не понимаешь. Это благородный спектакль, – вбей хоть ты это-то в свою голову: тут благородные дамы и девицы. Неужели же они и повесятся мне на шею? Они, я думаю, и говорить-то не станут со мной.

– Не хитрите, сделайте милость, не хитрите, Виктор Павлыч! Все я очень хорошо понимаю, и понимаю, почему это вам так хочется.

– Почему мне хочется? Вот этого-то ты, я думаю, уж совсем не понимаешь. Мне хочется потому, что хотелось этого Шекспиру и Шиллеру, – потому, что один убежал из отцовского дома, а другой не умел лечить – вот почему мне хочется!

– Что вы мне приятелей-то приводите в пример. В Москве еще я это от вас слыхала. Такие же пьяницы, как вы.

– Молчи, дура! Не говори по крайней мере об этих людях своим мерзким языком.

– Ругайтесь, ругайтесь! Прибейте еще!

Убить, я думаю, рады меня... Пьяница... бездомовщик! Уморил бы с голоду, кабы не мои же родные дали место.

Анна Сидоровна начала опять реветь.

– Ну да, – проговорил Рымов, – я хочу играть, буду играть, хоть бы тебя на семь частей разорвало.

Последние слова он произнес в сильном ожесточении. Анна, Сидоровна хотела было что-то возражать.

– Молчи! – вскрикнул Рымов, ударив кулаком по столу.

### III

## Вечер испытательного чтения

Художественный вечер Аполлоса Михайлыча, назначенный собственно для испытания талантов, начался часов в семь. Все уже были почти налицо. Хозяин приговаривался начать чтение.

– Рымов! – доложил слуга.

– А!.. – произнес хозяин. – Проси.

– Я чрезвычайно боюсь, не пьян ли он? – заметил Юлий Карлыч судье.

– Не без того, я думаю; заварите уж вы кашу с вашими актерами, – проговорил тот и взглянул в угол.

К удивлению многих, комик явился во фраке, в белой манишке, с причесанными волосами и совершенно уж не пьяный.

– Милости прошу! – проговорил хозяин, вставая. – Здесь вы видите все поклонников Мельпомены, и потому знакомиться нечего; достаточно сказать этого слова – и, стало быть, все мы братья. Господин Рымов! – при-

бавил Аполлос Михайлыч прочим гостям, из коих некоторые кивнули гостю головой, а Юлий Карлыч подал ему руку.

– Прошу присесть, – продолжал Дилетаев, указывая на ближайший стул. – Между нами нет только нашего великого трагика, Никона Семеныча. Он, вероятно, переделывает свою поэму; но мы все-таки начнем маленькую репетицию по ролям, в том порядке, как будет у нас спектакль. Сначала моя комедия – «Исправленный повеса», потом вы прочтете нам несколько сцен из «Женитьбы», и, наконец, Никон Семеныч продекламирует своим громовым голосом «Братья-разбойники»; Фани протанцует качучу, а Дарья Ивановна пропоет.

На такое распоряжение хозяина никто не отвечал. Дарья Ивановна пересмехнулась с Мишелем, судья сделал гримасу, Юлий Карлыч потупился, комик отошел и сел на дальний стул. Аполлос Михайлыч роздал по экземпляру своей комедии Матрене Матвевне и Фани.

– Пожалуйста, Матрена Матвевна, не сбивайтесь в репликах, то есть: это последние



слова каждого лица, к которым надобно очень прислушиваться. Это – главное правило сценического искусства. «Театр представляет богатый павильон на одной из парижских дач». Вам начинать, Матрена Матвевна!

Вдова начала:

– Действие первое. Явление первое.

– Позвольте, почтеннейшая! Зачем уж это читать? – перебил хозяин. – Это все знают. Начинайте с слова: «Ах, да!».

– Сейчас, сейчас, – отвечала Матрена Матвевна и снова начала:

*Ах, да! Все говорят о вас, виконт,  
Что вы от света стали отста-  
вать  
И бродите день целый под окном  
Какой-то Дульцинеи...[9]*

– Вы читаете недурно; но надобно более обращаться ко мне, – заметил хозяин и начал самым развязным тоном:

*Я брожу?  
Налгали вам, маркиза, на меня;  
Я провожу весь день в Пале-Рояле  
[10]!  
Играю, ем, курю и пью вино,*

*Затем, чтоб, нагрешивши вдоволь,  
Исправиться на ваших балах  
вновь.*

– Подхватывайте скорее, Матрена Матвевна!

Вдова торопливо взглянула в книгу и зачитала:

*Смешно вам,  
Смейтесь, маркиза, ваша воля!  
Но если б в самом деле...*

– Attendez, madame[11]! – воскликнул Аполос Михайлыч. – Вы читаете мой монолог, – как вы торопливы!

– Виновата! – сказала Матрена Матвевна, немного вспыхнув, и снова начала:

*Нет, нет, позвольте вам не верить!  
Вы страстно влюблены в какую-то  
Кухарочку, гризетку или прачку.  
Смешно, виконт, мне это. –  
Смешно вам? –  
подхватил хозяин. –  
Смейтесь, маркиза, ваша воля!*

*Но если б в самом деле я хотел  
Кого-нибудь когда-нибудь лю-  
бить,  
Так не влюбился бы в вас, свет-  
ских дам,  
А сердце отдал бы простой кре-  
стьянке.*

Матрена Матвевна подхватила:

*Затем, что обмануть несчаст-  
ных легче.*

– Вы хорошо произносите, но немного скоро и однообразно: нет перелива в голосе... – заметил Аполлос Михайлыч.

– Я теперь еще не знаю наизусть, а я выучу.

– Уверен, уверен, моя почтеннейшая, что выучите и будете превосходны. Как вы, Виктор Павлыч, находите наше чтение и комедию, – а?

– Стихи произносить очень трудно, – отвечал тот.

– Совершенно согласен: тут надобно, особенно в комедии, высшее классическое искусство. Я думаю, вы могли заметить, что я в своем чтении много заимствовал у Катенина[12],

которого несколько раз слышал и прилежно изучал.

Затем снова началось чтение. Матрена Матвевна часто мешалась в репликах, но зато сам хозяин необыкновенно одушевлялся, и в том месте, где виконт высказывает маркизе, что он ее не любит, Аполлос Михайлыч встал и декламировал наизусть.

– Как отлично Аполлос Михайлыч читают! – отнесся Юлий Карлыч к судье.

Тот только почесал затылок; комик сидел насупившись; Мишель что-то шептал на ухо Дарье Ивановне, которая, чтоб удержаться от смеха, зажала рот платком. Фани вся превратилась в слух и зрение и, кажется, с большим нетерпением ожидала, когда очередь дойдет до нее; наконец, пришла эта очередь. По ходу пьесы она сидит одна, в небольшой комнате, шьет себе новое платье и говорит:

*Виконт! О милый мой виконт!  
Я для тебя спешу скорей надеть  
Тобою подаренный мне наряд!  
Ты, может, будешь, друг бесценный,  
Любить меня еще сильнее в нем*

Так читала девушка и читала с большим чувством. Затем является виконт, сначала страстный, потом задумчивый; гризетка испугалась: она думает, что он ее разлюбил; но он только вспомнил о маркизе, вспомнил, как она смеялась над его любовью, и еще более возненавидел эту женщину. Он рассказал своей возлюбленной; но она ему не верит и начинает его ревновать.

Вся эта сцена очень удалась, может быть, более потому, что два действующие лица не сбивались в репликах и читали все на память. Дилетаев вставал, ходил, садился около Фани и целовал ее руки; под конец явления Юлий Карлыч и Матрена Матвевна захлопали в ладош «, и последняя поклялась к завтрашнему же дню так же твердо выучить роль, как Фани, и просила Аполлоса Михайлыча приехать поутру поучить ее. Второе и последнее действие было также прочитано с большим одушевлением со стороны Аполлоса Михайлыча и Фани и с большим старанием Матреною Матвевною, которая была уже не так однообразна, но по торопливости характера все-таки ошибалась иногда в репли-

ках и не совсем верно выражала акцентом голоса мысль монолога, но Дилетаев следил внимательно и очень часто делал вдове дельные замечания.

– Мы со сцены сходим, – произнес он, – теперь, Виктор Павлыч, ваша очередь – потешьте вы нас вашим чтением. Мне бы очень жалалось, чтобы каждое действующее лицо читало за себя; но у меня книжка одна, и роли еще не списаны. Прочтите уж вы одни то, что я отметил для нашего представления, да еще вас прошу пропускать те места, которые зачеркнуты карандашом. Они могут произвести на наших дам неприятное впечатление.

Комик, слушавший чтение всей комедии Дилетаева с грустным лицом, встал.

– Посмотрите, как у него руки дрожат, должно быть, он пьян, – заметил Мишель.

– Какой он странный, неприятно даже видеть: что он – лакей, что ли, чей-нибудь? – спросила его Дарья Ивановна.

– Должно быть, побочный сын Мельпомены.

– Перестанете ли вы меня смешить! Я, право, уеду.

– Бога ради, не погубите меня... Я не буду, честное слово, не буду, – отвечал молодой человек и закурил папиросу.

Комик подошел к столу и сел.

– Не любите ли вы пить воду с сахаром при чтении? – спросил хозяин.

– Нет-с, ничего; я и так прочту, – отвечал тот.

– Ему бы стакан водки для смелости закапать, – проговорил тихонько судья Юлию Карлычу.

– Ай, сохрани господи! Он нас всех приколотит, – отвечал тот.

– И хорошо бы сделал, чтобы глупостями-то не занимались.

Комик наконец начал чтение, по назначению Аполлоса Михайлыча, с того явления, где невеста рассуждает с теткою о женихах и потом является сваха. С первого почти его слова Матрена Матвевна фыркнула, Аполлос Михайлыч усмехнулся, Вейсбор закачал головой, Фани с удивлением уставила на Рымова свои глаза; даже Осип Касьяныч заглянул ему в лицо. Смех и любопытство заметно начали овладевать всеми. Вдова, Юлий Карлыч и Фа-

ни хохотали уже совершенно, Дилетаев слушал внимательно и по временам улыбался. Судья тоже улыбался. Мишель и Дарья Ивановна перестали говорить между собою. Чтение Рымова было действительно чрезвычайно смешно и натурально: с монологом каждого действующего лица не только менялся его голос, но как будто бы перекраивалось и самое лицо, виделись: и грубоватая физиономия тетки, и сладкое выражение двадцатипятилетней девицы, и, наконец, звонко ораторствовала сваха. С появлением женихов все уже хохотали, и в том месте, где Жевакин рассказывает, как солдаты говорили по-итальянски, Аполлос Михайлыч остановил Рымова.

– Нет, Виктор Павлыч, пощадите, – воскликнул он, отнимая у комика книгу. – О господи, даже колика сделалась... Матрена Матвеевна! Не прикажете ли истерических капель?

– Я не знаю, что такое со мною, – отвечала вдова, – я просто сумасшедшая.

– Как вы находите, Дарья Ивановна? – отнесся хозяин к молодой даме.

– Tres drole[13], Аполлос Михайлыч, – отве-



чала та.

– Живокини[14] не уступит – ужасный урод! – шепнул ей на ухо Мишель.

– Я, mon oncle, никогда так не смеялась... Отчего это? – сказала Фани.

– Это, душа моя, значит высшее искусство смешить. О чем плачете, Юлий Карлыч?

– От смеха, Аполлос Михайлыч, ей-богу, от смеха.

– Вижу, что от смеха, даже наш великий судья, и тот улыбается. Короче сказать: вы, Виктор Павлыч, великий актер.

Все эти похвалы комик слушал потупившись.

– Но вот ведь, господа, в чем главное дело, – начал рассуждать Дилетаев, – что смеялись мы, – это не удивительно: фарс всякой смешон; но, главное, – разнообразие таланта Виктора Павлыча. Он, например, может сыграть все почти лица: и сваху, и невесту, и тетку – это удивительно!.. Что бы вы теперь могли сделать в классической комедии? – продолжал он, обращаясь к комику. – Это выше слов: конечно, тут бы смеяться не стали; но зато на изящный-то вкус как бы подействова-

ло, особенно в этих живых пассивных сценах, на которые с умыслом автор рассчитывает.

– Что вы изволите, Аполлос Михайлыч, разуместь под классической комедией? – спросил скромно комик.

– Как что такое я разумею под именем классической комедии? – возразил хозяин. – Я разумею под этим именем все классические комедии, которые написаны по правилам искусства.

– Всякая комедия, если она выражает что-нибудь смешное ярко и естественно, – классическая комедия, – возразил скромно комик.

– Ах, нет: это совершенно ложная мысль! – перебил хозяин. – Смешного много написано: смешон водевиль, смешон фарс, но это не то... классическая комедия пишется по строгим и особенным правилам.

– Какие же особенные правила, mon oncle? Теперь в Петербурге даются водевили, которые гораздо лучше всех ваших классических комедий, – вмешался в разговор Мишель.

– Ну, mon cher[15], ты еще не можешь судить об этом; то, что я хочу сказать, ты не со всем и поймешь.

– Да почему же вы одни только можете понимать? – возразил племянник.

– Молчи, пожалуйста! Твое дело галстуки повязывать да воротнички выставлять – и только. Я заговорил об особых правилах классического искусства; известны ли они вам, Виктор Павлыч?

– Когда-то учил-с, но теперь уж совсем забыл.

– Ну, поэтому слегка их припомню вам; я сам тоже давно учил, но как-то врезалось в память. Первое правило – единство содержания; второе, да... второе, я полагаю, то, чтобы пьеса была написана стихами – это необходимо для классицизма; и, наконец, третье, уж совершенно как-то не помню, – кажется, чтобы все кончилось благополучно... например, свадьбой или чем-нибудь другим; но я, с своей стороны, кладу еще четвертое условие для того, чтобы комедия действовала на вкус людей образованных: надобно, чтобы она взята была из образованного класса; а то помилуйте! Что такое нынче пишут? На сцене фигурируют пьяные мужики, хохлы, лакеи, какие-то уроды-помещики. Такая сволочь, что не гля-

дел бы, да и в натуре их совсем нет. Возьмите вы комедии Шаховского[16] – букет изящного, ароматом пахнет... Я очень бы желал, Виктор Павлыч, чтобы вы прочитали мою комедию; конечно, это не ваш род, но все-таки полагаю, что вы бы произнесли ее верно и с артистическим одушевлением.

Комик, прислушивавшийся сначала к рассуждениям Аполлоса Михайлыча с какою-то горькою улыбкою, под конец ничего уж не слышал и все посматривал на закрытую книжку «Женитьбы». Ему, кажется, очень хотелось еще почитать ее.

– Прочитайте-ка, Виктор Павлыч, мою комедию, – повторил хозяин.

– Чего-с? – отозвался комик.

– Мою комедию продекламируйте.

Рымов немного смешался.

– Я не умею читать белых стихов, – проговорил он.

– Жаль, очень жаль, – начал хозяин, – невероятно жаль, что вы не получили строгого сценического воспитания! Вы бы были великий художник: природа ваша бесценна; но в настоящее время для вас существует

только известный род пьес, комедии райка; конечно, и в них много смешного, но уж чрезвычайно вульгарно. Высший класс тоже смеется; но смеяться ведь можно всему: мы смеемся, например, когда пьяный мужик пляшет под балалайку, но все-таки в этом нет истинного комизма. Так ли я, господа, говорю? – отнесся Аполлос Михайлыч к мужчинам. – Что вы, mesdames[17], скажете? – прибавил он, обращаясь к дамам. – Виктор Павлыч, я замечаю, не совсем соглашается с моими мнениями.

– Мы, дамы, должны соглашаться с вами, вы профессор наш, мы все считаем вас нашим профессором, – подхватила Матрена Матвевна.

Из мужчин судья только поднял брови и молчал; Мишель сделал гримасу и что-то шепнул на ухо Дарье Ивановне, которая ударила его по руке перчаткой и опять зажала рот платком.

– Я согласен с Матреной Матвевной, – произнес Юлий Карлыч. – Вы очень много читали, Аполлос Михайлыч, да и от природы имеете большое соображение.

– И, таким образом, стало быть, один Виктор Павлыч не согласен.

– Я ничего, Аполлос Михайлыч... – начал было Рымов.

– Ну, однако, как там в сердце, в уме-то своем не убеждены, что я прав? – перебил хозяин.

– Я ничего-с, только насчет райка... он иногда очень правильно судит.

– Вы думаете?..

– Да-с, Мольер обыкновенно читал свои комедии кухарке, и если она смеялась, он был доволен.

Аполлос Михайлыч покачал головою.

– Во-первых, это анекдот, а во-вторых, что такое Мольер? «Классик! Классик!» – кричат французы, но и только!.. Немцы и англичане не хотят и смотреть Мольера; я, с своей стороны, тоже не признаю его классиком... А!.. Никон Семеныч, великий трагик! Вас только и недоставало, – опоздали, mon cher! И лишили себя удовольствия прослушать большую часть нашего спектакля.

Но Никону Семенычу было не до кого и не до чего: он приехал в очень тревожном состо-

янии духа; волосы его были растрепаны, руки и даже лицо перепачканы в чернилах.

– Я приехал читать, – проговорил он, не кланяясь почти ни с кем.

– Да, теперь очередь за вами, – ответил хозяин, подмигнув судье и Юлию Карлычу, от чего последний потупился.

– Я много переделал и прибавил, – начал Никон Семеныч, садясь. – Могу? – спросил он.

– Сделайте милость, – сказал хозяин.

Рагузов начал:

– «Театр представляет равнину на волжском берегу. Рассыпана толпа разбойников в различных костюмах; близ одного, одетого наряднее других, сидит, опершись на его плечо, молодая женщина».

– Позвольте, mon cher, я вас перебыю: это, стало быть, совершенно новое лицо? – возразил Аполлос Михайлыч.

– Новое, оно необходимо, – отвечал торопливо Рагузов и продолжал уже наизусть:

*Нас было двое: брат и я!*

*Росли мы вместе, нашу младость*

*Вскормила чуждая семья...*

*На том месте, где говорится:*

*...Решились меж собой  
Мы жребий испытать иной, –*

он остановился и сказал:

– Тут говорит его любовница, – и продолжал:

*Елена  
Благословляю этот миг,  
Он отдал мне, мой друг, тебя!  
Ты не преступник, ты велик.  
Ты мой навек, а я твоя!*

– Позвольте, Никон Семеныч, я вас опять перебью: кто же будет играть эту роль? Надобно прежде это решить.

– Я не знаю-с, это – ваше дело.

– Но как же все мое дело; не могу же я придумать все, что придет вам в голову?! Дарья Ивановна, это ваша роль.

Дарья Ивановна насмешливо покачала головой:

– Почему же вы думаете, что моя? Неужели же вы находите, что я похожа на любовницу разбойника? Мне это досадно!

Матрена Матвевна взглянула на Аполлоса Михайлыча многозначительно.



– Фанечка, эту роль ты должна играть, – отнесся он к племяннице.

Но та, несмотря на любовь к искусству, на этот раз что-то сконфузилась.

– Я не сыграю, mon oncle, – произнесла она.

– Неправда, та bonne amie[18], неправда!.. Матрена Матвевна, она ведь должна играть?

– Она, непременно она... она молоденькая, хорошенькая, а мы все старухи, – решила вдова.

– Я, mon oncle, не умею играть драматических ролей.

– Никон Семеныч тебя научит, и я тебе слова два – три скажу.

– Я у вас буду учиться, mon oncle, – отвечала девушка.

Рагузов начал читать и прервал этот разговор. Наконец он кончил.

– Стало быть, поэма ваша, Никон Семеныч, должна будет идти отдельно от дивертисмана?

– Непременно!

– В таком случае надобно назвать ее драматической фантазией, – произнес Аполлос Михайлыч.

– Пожалуй, – отвечал трагик и встал.

– Ну-с, – отнесся Дилетаев к Дарье Ивановне, – теперь ваша очередь; во-первых – пропеть, а во-вторых – сыграть качучу для Фани на фортепьянах.

– У меня горло болит, Аполлос Михайлыч, – возразила она.

– Все равно-с, болит ли оно у вас, или нет, – мы этого не знаем, но просим, чтобы вы нам пропели.

– Спойте, Дарья Ивановна, дайте отдохнуть душе, – шепнул ей на ухо Мишель.

Дарья Ивановна встала и села за фортепьяно; голос ее был чрезвычайно звучен и довольно мягок: он поразил всех; один только Рымов, кажется, остался недоволен полученным впечатлением.

– Каково соловей-то наш заливается? – отнесся к нему Юлий Карлыч.

– Она не понимает, что поет, – отвечал тот и отошел.

Никон Семеныч прослушал весь романс с необыкновенным восторгом.

– Madame, je vous supplie, faites moi l'honneur d'accepter un role dans ma piece. Vous

avez tant de sentiments... J'arrangerai un petit air tout exprès pour votre voix...[19] – отнесся он, от полноты чувств, к Дарье Ивановне на французском языке.

– Je n'ai jamais parlé et chante sur la scène[20] – отвечала та небрежно и отвернулась от трагика.

– Прелесть! Чудо! – говорил Аполлос Михайлыч, качая головою.

– Попросите, пожалуйста, чтобы Дарья Ивановна играла в моей пьесе; я напишу для них романс. Это будет очень эффектно, – обратился к хозяину трагик.

– Вряд ли станет она играть! Дай бог, чтобы что-нибудь пропела, – отвечал Дилетаев. – Мишель! Поди сюда! – кликнул он племянника. – Будет ли у нас Дарья Ивановна играть?

– Я почему знаю, спросите ее.

– Попроси ее, мой друг, участвовать.

– Что ж мне ее просить... Я ничего у вас не понимаю, – проговорил Мишель и, отошед от дяди, опять заговорил с Дарьей Ивановной.

– Фанечка! – начал хозяин. – Что же твоя качуча?

– Сейчас начну, mon oncle, – ответила де-

вушка и убежала в свою комнату за кастаньетами.

Дарья Ивановна, по просьбе Аполлоса Михайлыча, заиграла качучу; Фани начала танцевать. Нельзя сказать, чтобы все па ее были вполне отчетливы и грациозны; но зато во всех пассивных скачках, которыми исполнен этот танец, она была чрезвычайно энергична. Аполлос Михайлыч, Никон Семеныч, Матрена Матвевна и Юлий Карлыч хлопали ей беспрестанно; оставались равнодушными зрителями только комик, который сидел в углу и, казалось, ничего не видал, и судья, которому, должно быть, тоже не понравился испанский танец.

«Этакое нахальство: для девицы, кажется, и неприлично бы было; простая мужичка не согласится этак ломаться!» – сказал он про себя.

Качучею заключился вечер испытательного чтения. Общество снова возвратилось в гостиную; Аполлос Михайлыч еще долго рассуждал о театральном искусстве, и у него опять начался жаркий спор с Рагузовым, который до того забылся, что даже собственную

комедию Дилетаева назвал пустяками. Аполлос Михайлыч после этого перестал с ним говорить. Комик раньше всех простился с хозяином, который обещался на другой же день прислать ему роль. Трагик уехал вскоре за ним. Дарью Ивановну поехал провожать Мишель. Фани принялась читать «Женитьбу». Матрена Матвеева очень долго сидела с хозяином в гостиной и о чем-то потихоньку разговаривала с ним. Все гости отправились, конечно, в экипажах; один только Рымов пошел пешком, повеся голову.

«Что это такое: где я был? Точно сумасшедший дом, – рассуждал он сам с собою, – что такое говорил этот господин: классическая комедия, Мольер не классик... единство содержания... «Женитьба» – фарс, черт знает что такое! Столпотворение какое-то вавилонское!.. Хорош же у них будет спектакль... и комедия хороша, нечего сказать. Вместо стихов – рубленая солома, но главное: каков виконт-то волокита, – тьфу ты, проклятые! Ничего подобного и не слыхивал! Видно, в самом деле старуха моя права; все это глупости, и глупости-то страшные! Или уж я очень одичал, так

не понимаю ничего, – черт знает что такое?»

Пришед домой, он застал жену в постели, с повязанной головой. Рымов посмотрел на нее. Анна Сидоровна отвернулась.

– Аннушка! Что с тобой? – спросил он, раздеваясь; но она не отвечала.

– За что ты сердишься? Что такое я сделал? Больна, что ли, ты?

– Да, – отвечала она.

– Что такое у тебя болит?

– Да вам зачем? Играйте там, дайте хоть умереть спокойно.

– Опять старые песни!

– Лучше бы к какой-нибудь поганой актрисе вашей отправились ночевать. Зачем меня пришли мучить?

– Тьфу ты, дура этакая! Лежи же, валяйся... терпения нет никакого!

– Что ж вы, подлец этакой, ругаетесь? Ступайте вон! Квартира моя – разбойник! Еще убьете ночью, пожалуй.

Рымов плюнул и ушел в другую комнату, погасил свечу и лег на голом диване. Прошло часа два, но ни муж, ни жена не спали; по крайней мере так можно было заключить из

того, что один кашлял, а другая потихоньку всхлипывала. Наконец, Анна Сидоровна встала и подошла к дверям комнаты, где лежал муж.

– Витя, ты спишь? – начала она ласковым голосом.

– Нет, а что?

– Поди ко мне, мамочка, тебе там жестко.

– Ругаться станешь.

– Нет, мамочка, я виновата.

Рымов встал и перешел к жене на кровать.

– Не играй, Витя! Пожалуйста, не играй: погубишь ты себя и меня!

– Чем же я погублю тебя?

– Избалуешься, мамочка, опять избалуешься, еще, пожалуй, влюбишься... вы ведь при всех, без стыда, целуетесь, это уж какое дело семейному человеку.

– Отвяжись, пожалуйста: я спать хочу!

– Спи, ангел мой, авось, тебя бог образумит.

Анна Сидоровна поцеловала и перекрестила мужа.

## IV

# Первая репетиция

Дня через два Дилетаев разослал ко всем роли; но, кроме того, он заехал к каждому из действующих лиц и сделал им, сообразуясь с характером, наставления и убеждения.

Осип Касьяныч, получив роль, пришел в совершенный азарт; он бросил ее на пол и начал топтать ногами, произведя при этом случае такой шум, что проживавшая с ним сестра подумала, бог знает что случилось, и в большом испуге прибежала к нему.

– Батюшка, Осип Касьяныч! Что это такое с вами? – спросила она.

– Черт, дьявол, бес плешивый! – кричал судья, толкая пинками роль. – Ишь как вздумал дурачить людей!

– Голубчик, братец, расскажите, что такое случилось?

– Вам еще что надобно от меня? Ступайте к себе. Ну что вам надобно? Лучше бы рожу умыли, – проговорил он, обращаясь к сестре, и, совершенно расстроенный, уехал к откуп-



цику, где играл целый день в карты и сверх обыкновения проиграл пятьсот рублей, бледнея и теряясь каждый раз, когда его спрашивали, какую он будет играть роль. После такого рода неприятностей почтенный судья о театре, конечно, забыл и думать, а пустился в закавказский преферанс и выиграл тьму денег, ограничась в отношении своей роли только тем, что, когда при его глазах лакей, метя комнату, задел щеткой тетрадку и хотел было ее вымести вместе с прочею дрянью, он сказал: «Не тронь этого, пусть тут валяется», — но тем и кончилось.

Гораздо добросовестнее исполнял поручение Дилетаева Юлий Карлыч. Несмотря на то, что жене его сделалось в тот день еще хуже, что около него шумел и кричал целый пяток различного возраста детей, он тотчас же начал учить роль; но, к несчастью, память совсем отказывалась. Пробившись без всякого успеха часа три, Вейсбор решился ехать за советом к учителю истории в уездном училище, который, по общей молве, отличался необыкновенною памятью и который действительно дал ему несколько спасительных советов: он

предложил заучивать вечером, но не поутру, потому что по утрам разум скоро воспринимает, но скоро и утрачивает; в местах, которые не запоминаются, советовал замечать некоторые, соседственные им, видимые признаки, так, например: пятнышко чернильное, черточку, а если ничего этакое не было, так можно и нарочно делать, то есть мазнуть по бумаге пальцем, капнуть салом и тому подобное, доказывая достоинство этого способа тем, что посредством его он выучил со всею хронологию историю Карамзина. По его словам, метода самого Ланкастера[21] противу изобретенной им методы никуда не годится. Способ действительно, надо полагать, был хорош. Дня через два, после тщательного упражнения, Юлий Карлыч знал уже четыре явления очень порядочно.

Немалого Аполлосу Михайлычу стоило труда уговорить и Дарью Ивановну принять на себя роль тетки в «Женитьбе». Несмотря на то, что эта роль была очень маленькая, молодая дама решительно отказывалась, говоря по-прежнему, что она расхохочется на первом слове; но Аполлос Михайлыч уверял, что если

она только выйдет на сцену и постоит, так и то будет прелестно.

Трагика тоже было трудно уломать взять роль Кочкарева. Алолос Михайлыч употребил для этого лесть, говоря, что Никону Семёнычу всякая роль по плечу и что он из грязи сделает брильянт. Тот, наконец, согласился и, пробегая роль, восклицал: «Этакая гадость, сальность! Что-то такое мужицкое, бурлацкое» – и снова начал отказываться, но Дилетав снова польстил, и трагик окончательно согласился и очень скоро выучил роль, хотя и была она ему не по сердцу. Про «Братьев-разбойников» и говорить нечего, – он эту поэму почти всю сам пересоздал и все это время походил совершенно на сумасшедшего человека: никого не принимал, никуда не ездил, а все занимался по этому предмету и в конце недели уже прислал Фани роль Елены – любовницы, совсем отделанную и переписанную. Фанечка тоже действовала от души. Роль гризетки она уже знала превосходно наизусть. Роль невесты выучила в два дня и, наконец, хотя и не с большим желанием, принялась за роль Елены. Качучу она уже танцева-

да очень мило.

В племяннике своем Дилетаев встретил опять большое затруднение: Мишель никак не хотел играть и даже нагрубил ему в такой мере, что он принужден был выгнать его из дому и решился было написать записку к аптекарю и просить того, несмотря на картавый выговор и совершенное незнание русского языка, сыграть Анучкина; но, впрочем, молодой человек, сходяв к Дарье Ивановне, опомнился: взял роль и начал ее изучать вместе с нею. Не знаю, действительно ли они учили свои роли, но только говорили беспрестанно и даже устроили какую-то странную между собой игру: «Перестаньте, Мишель, я уйду», – говорила вдруг Дарья Ивановна и уходила в темный коридор, но Мишель следовал за ней и в коридор. «Ну, так я в мезонин», – говорила она. Мишель шел за ней и в мезонин. «Ну, будет... довольно... я хочу сидеть в гостиной», – говорила Дарья Ивановна и шла в гостиную. Мишель тоже следовал за нею.

Что касается до комика, то предчувствие Анны Сидоровны, что театр опять собьет его с панталыку, отчасти начало оправдываться. В

тот же день он не пошел в контору, а ушел во вторую комнату, затворил дверь, заставил ее комодом и принялся что-то бормотать. Не осушая глаз, бедная женщина готовила в этот день кушанье; но есть ничего не могла. Браниться и говорить мужу тоже не хотела: она по опыту знала, что от этого не будет никакой пользы. Вечером она отправилась ко всеобщей и со слезами молилась, чтобы отвратился ее Витя от этой, словно с ветра напущенной на него, блажи.

Когда она пришла домой, Рымов вышел уже из своей засады. Ему, видно, стало жаль жены, и он хотел было вразумить ее, но тщетно: она заткнула себе уши и не хотела ничего слушать. Комик рассердился и по-прежнему лег на диван. На этот раз Анна Сидоровна не звала уже его к себе, и, таким образом, должен с грустью я сказать, что после пятилетней спокойной жизни супруги снова провели всю ночь на одиноких ложах, как это и часто случалось, когда Виктор Павлыч был в труппе. На другой день Рымов, впрочем, пошел в контору. Анна Сидоровна решилась без него употребить последнее средство: она подсмотр-

рела, куда муж спрятал свою тетрадку, нашла ее, изорвала на мелкие кусочки и сожгла. Пришед домой, комик сейчас же хватился своей роли, но не нашел и, вероятно, догадался о постигшей ее участи; но это для него ничего не значило: он тотчас же написал всю роль на память и, как бы в досаду, показал ее Анне Сидоровне; но та уже и отвечать ничего не могла, а только вздохнула и, чтобы отплатить неверному, ушла на целый вечер к одной соседке и там, насколько доставало у ней силы, играла равнодушно в свои козыри; но, возвратясь домой, опять впала в тоску и легла. Несмотря на все эти отчаянные поступки жены, Рымов, кажется, решился поставить на своем и не обращал никакого внимания на нее, что, конечно, еще более убивало Анну Сидоровну.

Семнадцатого февраля была назначена, по распоряжению Аполлоса Михайлыча, первая репетиция. Дилетаев, как человек строгий и опытный в театральном деле, настаивал, чтобы репетировали в костюмах, и весьма сожалел, что сцена, по многим местным неудобствам, не была еще окончательно готова. Пе-

ред началом репетиции Аполлос Михайлыч сидел в своем кабинете, погруженный в тихое раздумье: «Я и Фани будем отличны, – рассуждал он про себя, – Рагузов будет эффектен; Рымов одной своей физиономией насмешит всех; Матрена Матвевна будет тверда в своей роли; ну, а если прочие сыграют и посредственно, то все-таки спектакль сойдет хорошо. Главное, надобно, чтобы все позаботились о костюмах и твердо бы знали свои роли, а там уж музыкой и освещением можно будет пыль в глаза бросить».

Стулья в зале, в котором должна была происходить репетиция, еще с утра были расставлены в том порядке, как следует, то есть: часть их отделена для зрителей, а два кресла были поставлены на место, назначенное для сцены; выходить должны были из кабинета и из коридора. Действующие лица собрались в шесть часов. Аполлос Михайлыч, Матрена Матвевна и Фанечка пошли одеваться. Зрителями первой пьесы были: Рымов, Рагузов, Дарья Ивановна с Мишелем и Юлий Карлыч с судьей; последний был, заметно, в состоянии полного ожесточения и глядел совершенным

медведем на всех и на все. Кроме этих зрителей, не было никого: несмотря на убедительные просьбы некоторых чиновников и помещиков посмотреть репетицию, Аполлос Михайлыч отказывал всем и каждому наотрез, имея в виду, что от этого потеряет много эффекту самый спектакль. Через час из коридора вышла Матрена Матвевна в напудренной прическе маркизы времен Людовика XIV и в бальном платье; вскоре за ней явился и виконт в бархатном кафтане, золотом камзоле, весь в кружевах, в парике, с маленькой шляпой, в белых коротеньких и узеньких брюках, в шелковых чулках и башмаках. В этом костюме Аполлосу Михайлычу никто бы не дал пятидесяти лет; но сверх того самые манеры его как будто бы изменились: он был жив, резв, вертляв и ловок – так, что своею особою невольно бросал весьма невыгодный оттенок на маркизу, которая, сравнительно с ним, далеко не выражала ловкой парижанки. Никон Семеныч, как знаток театра, заметил это с первого раза. Репетиция началась и продолжалась в полном порядке, и только Матрена Матвевна, несмотря на твердое и прилежное



изучение роли, все еще сбивалась; в этом виноват был отчасти суфлер, в которые Аполлос Михайлыч выбрал своего управляющего, человека, хорошо читающего и очень аккуратного; но аккуратность-то эта именно и вредила тут. Матрена Матвевна, как мы уже знаем, говорила очень скоро и кой-что пропускала, а суфлер, никак не успевавший за нею следить, когда она останавливалась на конце фразы, не желая, по своей аккуратности, ничего пропускать, подсказывал ей проговоренный монолог, от чего и выходила путаница, которая до того рассердила Аполлоса Михайлыча, что он назвал суфлера дураком. Впрочем, явление с гризеткою выкупило все. Юлий Карлыч пришел в восторг, даже Рагузов похвалил; хлопали и Мишель с Дарьей Ивановной; но они, я полагаю, делали это с насмешкою. «Исправленный повеса», наконец, был прорепетирован. Матрена Матвевна просила Аполлоса Михайлыча еще поучить ее; он, конечно, обещался и тут же сделал замечание насчет туалета, говоря, что, хотя бальное платье ее прелестно, но несогласно с модою того времени, и обещался привезти ей рисунок, по кото-

рому она и должна будет сшить себе платье, вполне приличное маркизе.

За этой пьесой следовала «Женитьба»; но она вовсе не так была удачна, как первая. Сцены тетки с невестой и, наконец, со свахой были очень слабы. Дарья Ивановна, никак не хотевшая надеть настоящего костюма, только стояла на сцене, и когда суфлер обращался к ней, говоря: «Вам», она отвечала: «Скажи за меня, – я еще не выучила». Фани была лучше всех, хотя, конечно, походила более на барышню, нежели на купчиху; но по крайней мере она знала свою роль. Матрена Матвевна, успевшая уже переодеться, тоже знала свою роль, но и здесь у ней проявлялся прежний ее недостаток: она то говорила очень твердо, то останавливалась и, по неискусству суфлера, не могла уже скоро поправиться. Сцена женихов решительно никуда не годилась; судья и Мишель были без костюмов. Первый, вставая, объявил, что он еще и не учил своей роли, и потом стал, с трудом разбирая, читать ее по тетрадке таким тоном, каким обыкновенно читаются деловые бумаги. Мишель был несносен: он, подобно Дарье Ивановне, взду-

мал было заставлять суглера читать за себя, но Аполлос Михайлыч вышел из терпения, крикнул на него и требовал, чтобы он непременно играл настоящим манером. Мишель, надувшись, начал читать, но без всякого одушевления. Юлий Карлыч, несмотря на все свое усердие, был тоже не совсем удовлетворителен, потому что он более старался, нежели играл. Аполлос Михайлыч качал головой, Рагузов тоже качал головой, но только с насмешкою. Рымов бледнел и краснел. Перед тем явлением, в котором Подколесин должен был выйти с Кочкаревым, комик подошел к Дилетаеву.

– Пиеса эта не может идти, Аполлос Михайлыч, – сказал он печальным голосом.

– Это отчего?

– Она очень сложна, вы лучше замените ее другою: мы только будем путать.

– Ах, мой почтенный, как вы мало это дело знаете! Отчего теперь путают? Оттого, что не знают своих ролей, а когда выучат, то пойдет прекрасно.

– Нет, вообще ее играют неверно.

– Согласен: но что же такое? Да и кроме то-

го: чего же вы хотите от фарса; его только надобно твердо выучить, а там и будет смешно. Выходите, мой милый, играйте, смешите нас, а о прочем не беспокойтесь, это мое дело привести все в порядок. Конечно, она не может идти так, как идет моя комедия, но никто этого и не требует: достаточно, если мы будем смеяться. Выходите, почтеннейший Никон Семеныч, вам следует!

Никон Семеныч нехотя встал и пошел вместе с комиком на сцену; но, несмотря на то, что трагик был тверд в своей роли, что Рымов скроил пресмешную физиономию, первое действие кончилось очень слабо.

Комик не выдержал, махнул рукою, отошел и встал к окну. Рагузов смеялся. Мишель с Дарьей Ивановной тоже смеялись. Аполлос Михайлыч был в беспокойстве.

– Не конфузьтесь, господа, сделайте милость, не конфузьтесь: в таком деле по началу судить нельзя. Извольте начинать второе действие. Фанечка! Тебе, мой друг, – говорил он.

– Mon opsle, да что, я не знаю; у нас что-то нехорошо идет, – отвечала Фани.

– Ничего, моя милая, начинай.

– Что вам за охота, Аполлос Михайлыч, заставлять нас ломаться? – заметил трагик.

– Не ломаться, Никон Семеныч! Поверьте, что не ломаться: выйдет недурно; для полноты спектакля эта пьеса необходима: что не удастся в ней, то наши с вами вывезут. Начинай же, Фани!

Фанечка начала. Явился потом Кочкарев, и сверх ожидания это явление сошло очень недурно; но при появлении прочих женихов опять пошла путаница, и они кое-как были прогнаны невестой. С уходом их пьеса пошла даже отлично. Рымов в сцене с невестой превзошел все ожидания. Все разразились смехом; даже Фанечка не удержалась и захохотала. Последующие явления его с Кочкаревым были хороши, а последний монолог, после которого он выскакивает в окно, неподражаем. Аполлос Михайлыч хлопал, как сумасшедший, и говорил, что все и все отлично. Но я должен сказать, что не все было отлично: трагик редко попадал в настоящий тон; Фанечка тоже; Аполлос Михайлыч, впрочем, уверял, что это происходило оттого, что она была

слишком молода для этой роли. Комик с нахмуренным и сердитым лицом сел на дальний стул и задумался.

– Вы извините меня, Аполлос Михайлыч, – сказал Юлий Карлыч, подходя к хозяину, – что я не так твердо знаю. Право, я совершенно не имею памяти.

– Ничего, Юлий Карлыч! Терпение все преодолевает; вы еще удовлетворительнее прочих.

Судья, подобно комику, уселся в углу и ни с кем не говорил ни слова. Трагик и Фанечка скрылись. По окончании «Женитьбы» следовала, как переименовал Рагузов, драматическая фантазия «Братья-разбойники». Через полчаса из кабинета хозяина вышел Никон Семеныч в известном уже нам костюме, то есть в красных широких шальварах, перетянутый шелковым, изумрудного цвета, кушаком, в каком-то легоньком казакине, в ухарской шапочке, с усами, набеленный и нарумяненный.

– Где же другие разбойники? – спросил он.

– Будут, будут, не беспокойтесь, – отвечал хозяин, – сегодня, конечно, не в костюмах, но

это ничего.

– Отчего же в вашей пьесе все были костюмированы? – проговорил с досадою Рагузов.

– Как же вы, Никон Семеныч, сравниваете мою пьесу: там только три лица, а у вас их десять; кроме того, моя комедия уже три года, как готова; а ваша только еще вчера сочинялась.

– Извините: она постарше вашей; о себе-то вы все придумали, а о других только нет.

– Я думаю обо всех и обдумывал уже все; костюмы ваши несложны, они в два дня поспеют.

Явилась Фани в костюме любовницы разбойника, и можно сказать, что наряд ее был очень хорош. На голове ее была тоже какая-то шапочка, стан обхватывался коротеньким с корсажем платьищем, сшитым наподобие швейцарских.

– Этот костюм не верен, mademoiselle, – сказал трагик, осматривая ее.

– Мне дяденька его сочинил, – отвечала Фани.

– Как вы, Никон Семеныч, говорите – не верен, – воскликнул Дилетаев, – сами назвали

поэму драматической фантазией, а недовольны фантастическим костюмом. На вас самих костюм очень необыкновенный.

– У меня-то уж вовсе обыкновенный и самый национальный.

– Ну и прекрасно, будь по-вашему; я уже себе дал слово с вами не спорить: Фани будет играть в этом костюме. Это решено.

Трагик насмешливо улыбнулся.

– А где же разбойники? – повторил он.

– Сейчас... Юлий Карлыч, Мишель, Осип Касьяныч, пойдете в разбойники, – произнес хозяин, приподымаясь. – Виктор Павлыч! Потрудитесь и вы; мы вас оденем старым подьячим, которые всегда присутствовали в разбойничьих шайках.

На этот призыв хозяина поднялся только один Юлий Карлыч.

– Сделайте милость, господа, – повторил настоятельно хозяин, – Мишель, ступай, кинь папиросу, точно не закуришься! Осип Касьяныч, пожалуйста! Полно вам там сидеть в углу. Виктор Павлыч, пойдете, – прибавил хозяин, беря комика за руку.

Гости нехотя вышли на сцену.



– Только-то? – спросил Никон Семеныч.

– Покуда только, а на представление я приготавливаю лакеев. Размещайте картину соответственно вашему плану.

Трагик начал: на авансцену он посадил самого хозяина в позе кровожадного эсаула. Судью, как он ни отнекивался, Никон Семеныч положил на землю плашмя и велел ему дремать; Мишель был тоже положен, но с лицом, обращенным к самому трагику. Комик посажен был на корточки; актерская натура его и тут не выдержала: он скорчил такую уморительную физиономию, что все разбойники и дамы захохотали. Фани посажена была около самого Никона Семеныча и должна была опираться на его плечо; она исполнила это с большим над собою усилием.

Твердо, с одушевлением и с большою драматическою аффектациею начал Никон Семеныч свою роль, обращаясь попеременно то к тому, то к другому разбойнику, которые слушали его; но он по преимуществу остался доволен самим хозяином и комиком. Первый, действительно, делал чрезвычайно зверскую физиономию, когда трагик рассказывал об

убогом и о богатом жидях, которых он резал на дороге; второй же выражал другого рода чувства: робость, подлость и вместе с тем тоже кровожадность и был так смешон, что бывшие зрительницами Матрена Матвевна и Дарья Ивановна, несмотря на серьезное содержание пьесы, хохотали. Фани, в роли любовницы, была хороша, только очень мало обращалась к своему любовнику, впрочем, произносила стихи с чувством. Драматическая фантазия сошла очень удовлетворительно, так что Аполлос Михайлыч сказал:

– Я не ожидал, чтобы все это сошло так недурно. Вы очень хороши, Никон Семеныч, в драматической поэзии.

Затем следовала песня «Оседлаю коня» Дарьи Ивановны и качуча – Фани. Хозяин настоял, чтоб и они прорепетировали, и привел по этому случаю известную пословицу: *Repetitio est mater studiorum*[22]. Дарья Ивановна, аккомпанируя себе, пропела свой *chef d'oeuvre* и привела снова в восторг Никона Семеныча, который приблизился было к ней с похвалой, но в то же время подошел к молодой даме Мишель, и она, отвернувшись от трагика, за-

говорила с тем. Фанечка подседа к комику.

– Как вы хорошо играете, – сказала она, – лучше всех нас; вы поучите меня играть?

– Наша пьеса не пойдет, – отвечал тот.

– Отчего же?

– Она очень дурно выполняется.

– Но вы хорошо играете.

– Я один ничего не значу.

– Фанечка, тебе танцевать качучу; переоденься, моя милая, в другой костюм, – произнес Аполлос Михайлыч.

Фани убежала в свою комнату и когда явилась, то была уже одета совершенно по-балетному, даже в трико, которое нарочно купил для нее Аполлос Михайлыч в Москве. Дарья Ивановна села играть за фортепьяно. Впечатление, произведенное танцами Фани, было таково же, как и прежде. Трагик качал от удовольствия головою; Матрена Матвевна делала ей ручкой; комик смотрел на девушку гораздо внимательнее, чем в первый раз.

Актеры разошлись очень поздно, оставив хозяина в совершенном утомлении. Пришед в свой кабинет, Аполлос Михайлыч бросился в свои покойные кресла.

«Ох, творец небесный, как я устал! Вот по-  
словица говорится: охота пуще неволи; ах,  
как все они мало искусство-то понимают:  
просто никто ничего не смыслит!» – произнес  
он сам с собою и, будучи уже более не в состо-  
янии ничего ни думать, ни делать, разделся и  
бросился в постель.

## Хлопоты антрепренера

На другой день Дилетаев лежал еще в постели, когда подали ему письмо от Рымова, в котором тот отказывался играть и писал, что у него больна жена и что комедия, в которой он участвует, так дурно идет, что ее непременно следует исключить.

– Вот тебе на! – проговорил Аполлос Михайлыч, совершенно пораженный. – На кого была надежда, тот и лопнул. Завидно вот, почему моя пьеса идет лучше всего. Какое это дьявольское артистическое самолюбие! С простыми людьми, право, легче составлять спектакли; те по крайней мере не умничают, а исполняют, что велят. Велика фигура – мещанин какой-то, и тот важничает!

Но и простые люди вышли не лучше комика: судья тоже прислал записку, в которой напрямик отказывался и уведомлял, что он завтра же отбудет в отпуск в губернию.

Дилетаев не выдержал и, разорвав обе записки на мелкие куски, бросил их на пол.

– Вот вам люди! – продолжал он, обращаясь к окну, из которого виднелась городская площадь, усыпанная, по случаю базара, народом. – Позови обедать, – так пешком прибегут! Покровительство нужно, – на колени, подлец, встанет, в грязи в ноги поклонится! А затей что-нибудь поблагороднее, так и жена больна и в отпуск надобно ехать... Погодите, мои милые, дайте мне только дело это кончить: в калитку мою вы не заглянете...

Размыслив хорошенько, Аполлос Михайлыч о судьбе уже не жалел, потому что тот и по характеру был большой невежа, да и играть совершенно не умел; но комика Дилетав покаялся не выпускать из рук, вследствие чего тотчас ж спросил себе одеваться, велел закладывать лошадь и проехал прямо к Рымову. Здесь он увидел довольно странную сцену: на стуле у окна сидел совсем растрепанный комик, с лицом мрачным и невымытым; тут же на маленькой скамейке, прикинув головой к коленям мужа, сидела Анна Сидоровна, уставив на него свои маленькие глаза, исполненные нежности. Кроме того, она целовала его руку. Читатель, вероятно, дога-

дывается» что подобное семейное счастье возникло вследствие отказа Рымова участвовать в спектакле.

– Виноват... – проговорил Аполлос Михайлыч, попятившись назад.

Комик вскочил и толкнул жену ногою. Та вскрикнула и убежала.

– Сделайте милость, не беспокойтесь. Я приехал на два слова: побраню вас и уеду, – проговорил гость, между тем как оконфуженный хозяин решительно не находил, как бы поправить свой туалет.

– Позвольте, – произнес он, хватаясь за пальто и натягивая на себя.

– Опять повторяю, не беспокойтесь, – проговорил гость, – артистам друг с другом нечего церемониться. Во-первых, супруга ваша не больна; во-вторых, комедия идет бесподобно; стало быть, все препятствия разбиты мною в прах, и, следовательно, вы не скроете и не закопаете вашего таланта, а блеснете им во всей красе.

– Нет-с, я не могу играть, Аполлос Михайлыч, – возразил комик.

– Вы можете, и вы будете играть.

– Помилуйте, сделайте милость, не беспокойтесь: мой муж не так здоров... зачем же ему себя изнурять, – произнесла, выходя, Анна Сидоровна в сильном волнении.

– Муж ваш, сударыня, здоров, вы тоже; все обстоит благополучно, поэтому они будут играть, а вы будете любоваться. Мне очень известно, что вы не пожаловали на нашу первую репетицию. Я, в моих хлопотах, совершенно забыл послать за вами экипаж; но вперед этого уж не будет.

– Благодарю вас; я не охотница, – произнесла она отрывисто. – Вы, кажется, Виктор Павлыч, сами говорили, что больны, и, кажется, не молоденький ломаться. Что же это такое? Кто вас ни позовет, вы сейчас соглашаетесь, – прибавила она, обращаясь к мужу.

Комик стоял нахмурившись; Дилетаев вышел из терпенья и пожал плечами.

– Я имею, сударыня, дело не с вами, а с вашим мужем, – заметил он. – Не угодно ли вам, Виктор Павлыч, по крайней мере объяснить мне, почему вы не желаете участвовать в нашем спектакле. Общество у меня собрано приличное и вас никоим образом не может



компрометировать. Если вы недовольны пьесой, то и это опять несправедливо. Вы сами ее очень хвалили. Я, с своей стороны, готов бы даже был уступить вам свою роль из моей комедии, которая действительно идет очень хорошо. Но сами согласитесь: я автор и писал ее нарочно для себя. Кроме того, Виктор Павлыч, я позволяю себе вам заметить, что у меня играют люди благородные, которые и не сродны к этому делу и заняты другими обязанностями; но они, желая доставить мне удовольствие, играют. Я должен прямо вам сказать, что в последствии времени мог бы быть полезен для вас.

– Нам, бедным людям, не след мешаться между благородными, – возразила Анна Сидоровна.

Но Аполлос Михайлыч не обратил никакого внимания на ее слова.

– Сделайте милость, господин Рымов, решите мое сомнение, – отнесся он к комику.

– Я отказываюсь потому, что эта пьеса не может идти, – отвечал тот.

– Отчего же не может?

– Оттого, что никто не играет.

– Вовсе нет-с, напротив: все играют, а роли только еще не знают. Разве Фани не играет? Разве Никоя Семеныч не отчетливо хорош в Кочкареве?

– Они знают роли.

– И с этим я не согласен. Они выполняют роли, а прочие тоже выучат, – это уж мое дело!

– Прочие даже и стоять на сцене не умеют.

– Вы очень строго судите, милый мой, – возразил Аполлос Михайлыч. – Не знаю, участвовали ли вы когда-нибудь в благородных спектаклях, но только я скажу, что это совсем другое дело, чем публичный театр. На нас будут смотреть, как на любителей, которые, для собственного удовольствия, разучили несколько сцен – и только. Вы сказали, что Осип Касьяныч, Юлий Карлыч и Мишель не умеют стоять на сцене. Это совершенно справедливо, и поверьте: я, имея это в виду, сегодня ночью придумал превосходный оборот. Мы выкинем из пьесы все сцены, где участвуют экзекутор, моряк, офицер этот и, наконец, сваха и тетка.

– Как же вы это выкинете? – спросил ко-

мик с некоторым удивлением.

– Так просто, как обыкновенно выкидывают.

– Тогда выйдет чушь, которой нельзя будет и понять, – возразил комик.

– Из фарса, господин Рымов, что ни делай, никогда чушь не выйдет, потому что он сам по себе чушь. Но эта пьеска переработается даже прекрасно, так что перещеголяет, я думаю, подлинник, потому что будет иметь единство.

– Нет-с, этого нельзя.

– Нет-с, можно! Извольте слушать; первое явление: вы со слугой. Слугу буду играть я сам. Угодно вам? Хотя это и не моя роль и не моего вкуса, но для театра я готов пожертвовать всем. Свахи нет. Является Кочкарев и с ним вся сцена. Потом зачеркивается все и начинается с того места, где невеста рассуждает о женихах. Приходит Кочкарев, советует ей брать Подколесина и приводит его, а тут опять может идти все сплошь. Таким образом пьеса прекрасно начнется и отлично кончится.

Комик все еще недоумевал, но было замет-

но, что остроумная выходка Аполлоса Михайлыча сильно его поколебала.

– Полноте, мой любезнейший Виктор Павлыч, нечего думать и рассуждать. Поедемте сейчас же ко мне и примемся за переделку комедии. Не хуже же, черт возьми, Рагузова мы справимся с этим делом: он прибавляет, а мы будем убавлять! Я мастер на эти дела. Если бы охота пришла, так бы таких фарсов по десятку в ночь писал. Ну-с – по рукам!.. – прибавил Дилетаев.

– Я таким образом согласен-с, – проговорил комик.

Анна Сидоровна побледнела и задрожала. Она взглянула на мужа, но тот отвернулся.

– Итак!.. – произнес с восторгом Аполлос Михайлыч.

– Сейчас буду готов, – отвечал Рымов и ушел в соседнюю комнату.

Анна Сидоровна кинулась было за ним, но дверь была заперта.

– Как я рад, что уговорил вашего супруга! – отнесся к ней гость, но она ничего ему не ответила и тотчас же вышла из комнаты, прошла в кухню, села на лавку и горько заплакала.

ла.

Рымов уехал с Дилетаевым.

«Женитьба» в один день была переделана как нельзя удобнее для сцены. В дальнейшее затем время Аполлос Михайлыч работал неумоимо. Он пригласил городских жителей всех классов и разослал несколько приглашительных билетов к помещикам в усадьбы. Репетиции шли довольно уж твердо. Костюмы для разбойников были приготовлены. Матрена Матвевна менее и менее ошибалась в репликах. Рымов смешил всех до истерики; одним словом, все это было хорошо, и Дилетаева беспокоила одна только механическая часть. Представление должно было произойти на фабрике у купца Яблочкина, производящего полотно, который, по просьбе Дилетаева и по старинному с ним знакомству, дал для театра огромную залу в своем заведении; но все-таки он был купец и поэтому имел большие предрассудки, так, например: залу дал, — даже фабричное производство на всю масло-ницу остановил, но требовал, чтобы ни одного гвоздя ни в пол, ни в стены не было вколочено. Прошу при таких условиях поместить

всю театральную обстановку! Одна только гениальная изобретательность и необыкновенное знание дела Аполлоса Михайлыча могли все это обделать. В зале, предназначенной для публики, было поставлено несколько рядов кресел и сверх того взади возвышался амфитеатром раек для купцов и мещан. Сцена была возвышенная; подзоры, очень затейливо нарисованные под пунцовые бархатные драпри, повесились. Декорации, то есть голубая комната, а на другой стороне желтая, и лес, были привезены из усадьбы Дилетаева и поставлены. Наконец, опустился и передний занавес, — он был вновь изготовлен. Антрепренер показал и здесь неподражаемую свою изобретательность: у него были очень старинные, но прелестные французские обои, которые представляли маленьких летящих амурчиков, и еще, тоже старинной, но прекрасной работы, эстамп, изображающий Талию. Эта-то Талия и сотни три амурчиков были вырезаны из своих мест и наклеены на голубой коленкор. Талия, конечно, поместилась в середине, и к ней со всех сторон слетались амурчики; вид был прелестный, особенно

при вечернем освещении. Аполлос Михайлыч водил всех своих актеров полюбоваться своим изобретением. Уборные для мужчин и дам были тоже приготовлены: кавалерам в холодном чулане, для согревания которого Дилетаев предполагал в день представления поставить три самовара; а для дам – в соседней сторожке, которую по этому случаю оклеили обоями, а находящуюся в ней русскую печь заставили ширмами.

Более всего Аполлос Михайлыч хлопотал с оркестром. При первом испытании оказалось, что Никон Семеныч вовсе не занимался музыкой и неизвестно для чего содержал всю эту сволочь. Капельмейстер, державший первую скрипку, был ленивейшее в мире животное: вместо того, чтобы упражнять оркестр и совершенствоваться самому в музыке, он или спал, или удил рыбу, или, наконец, играл с барской собакой на дворе; про прочую братию и говорить нечего: мальчишка-валторнист был такой шалун, что его следовало бы непременно раз по семи в день сечь: в валторну свою он насыпал песку, наливал щей и даже засовывал в широкое отверстие ее ма-

леньких котят. Вторая скрипка только еще другой месяц начала учиться. На флейте играл старичишка – глухой, вялый; он обыкновенно отставал от прочих по крайней мере на две или на три связки, которые и доигрывал после; другие и того были хуже: на виолончели бы играл порядочный музыкант, но был страшный пьяница, и у него чрезвычайно дрожали руки, в барабан колотил кто придется, вследствие чего Аполлос Михайлыч и принужден был барабан совсем выкинуть. Кадрили они играли еще сносно, конечно, флейта делала грубые ошибки, а валторнист отпускал какую-нибудь шалость; но по крайней мере сам капельмейстер и крепко запивающая виолончель делали свое дело, однако при всем том – не кадрили же играть на спектакле?

Дилетаев пришел в ужас, когда рассмотрел их репертуар: музыканты играли всего только две французские кадрили, мазурку Хлопицкого, симфонию из «Калифа Багдадского» [23] и какую-то старую увертюру из «Русалки» [24] да несколько русских песен. – Что прикажете при такой бедности избрать на четыре



антракта? А главное: под какую музыку будет танцевать Фани? Он дал было им для разучения фортепьянные ноты качучи, но капельмейстер решительно отказался, говоря, что он не умеет переложить, потому что не знает генерал-баса. Дилетаев сказал в глаза Никону Семенычу, что ему приличнее держать лошадиный завод, чем музыкантов: но тот этим не обиделся, потому что в это время был занят своим делом: он сочинял еще новый монолог в своей драматической фантазии.

Покорившись необходимости, Дилетаев с музыкой распорядился таким образом: перед представлением, для съезда, он назначил французскую кадрили, между первым и вторым актом – мазурку, которую они лучше всего исполняли; перед «Женитьбой» – «Лучинушку» и «Не белы-то ли снежки»; перед драматической фантазией – симфонию из «Калифа Багдадского» и, наконец, перед дивертисманом – увертюру из «Русалки». Фани свою качучу должна была танцевать под игру Дарьи Ивановны на фортепьяно.

Афишки написал сам Аполлос Михайлыч. Они были таковы:

184... года.

**Ж. .**

*Спектакль любителей, составленный  
Аполлосом Михайлычем Дилетаевым.*

1

**ВИКОНТ И ГРИЗЕТКА,**

*ИЛИ  
ИСПРАВЛЕННЫЙ ПОВЕСА.*

**ОРИГИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ.**

**СОЧИНЕНИЯ АПОЛЛОСА ДИЛЕТАЕВА.**

*Действующие лица:*

*Маркиза Мон-Блан..... М.М.Рыжова.*

*Виконт Де-Сусье..... А.М.Дилетаев.*

*Роза-гризетка..... Ф.П.Дилетаева.*

*Действие происходит в Париже, в цар-  
ствование*

*Людовика XIV, на даче близ оного.*

2

## **СЦЕНЫ ИЗ «ЖЕНИТЬБЫ»,**

комедии, соч. Гоголя, переделанные и поставленные на сцену В.П.Рымовым.

*Действующие лица:*

Подколесин..... В.П.Рымов.

Кочкарев, его друг..... Н.С.Рагузов.

Невеста..... Ф.П.Дилетаева.

Степан, слуга Подколесина..... А.М.Дилетаев.

3

## **БРАТЯ-РАЗБОЙНИКИ.**

*Драматическая фантазия, переделанная из поэмы Пушкина, того же наименования, Н.С.Рагузовым, со вновь изобретенными костюмами и декорациями*

*Действующие лица:*

Атаман-разбойник..... Н.С.Рагузов

Елена, его любовница.... Ф.П.Дилетаева.

..... А.М.Дилетаев.

Разбойники..... М.П.Дилетаев.

..... В.К.Вейсбор.  
..... и другие.  
Старинный подьячий..... В.П.Рымов.

*В заключение дан будет:*

## **ДИВЕРТИСМАН.**

*в коем Ф.П.Дилетаева будет плясать качучу, в национальном костюме; а Д.И.Здруева будет петь романс: «Оседлаю коня!» Начало в семь часов. Представление произойдет на фабричном заведении г. Яблочкина. Билеты без платы, могут получаться от самого г. Дилетаева. Дети никаким образом не могут быть приводимы. Вход на сцену публике запрещается.*

\* \* \*

Захлопотавшись по театру, Аполлос Михайлыч чрезвычайно много наделал ошибок в приглашении гостей и сбился в раздаче билетов: людям почтенным и уважаемым досталось в задних рядах, а на передние насажал дрянь; другим, тоже очень значительным семействам, вовсе не достало места, и, наконец, хуже всего, по общему говору, было то, что он

взади устроил раек для черни, которая, по всем соображениям, должна была произвести неприятный для другого общества воздух.

Рымов очень много помогал Аполлосу Михайлычу и учил потихоньку Фани, которая, надобно сказать, оказала большие успехи. Он сделал из нее совсем купеческую невесту, так что на одной репетиции Аполлос Михайлыч удивился.

– Вот что значит, – говорил он, – классическое сценическое воспитание, которое я дал Фани: она сыграет всякую роль!

Таким образом одушевился комик от двух причин: во-первых, «Женитьба» пошла очень твердо, а во-вторых, Анна Сидоровна отбыла из города. Каким образом это случилось, мы увидим дальше.

## VI

# Рымовы и их прошедшее

Анна Сидоровна, которую мы оставили в слезах, несмотря на страстную любовь к мужу, пришла против него в сильное ожесточение: она первоначально заперла ворота, вероятно, с целью не пускать его домой, потом открыла комод и выбросила весь гардероб супруга на двор. Вспомнив, что у нее есть подаренная Витею чашка, она тотчас же разбила ее вдребезги и наконец, утомленная и истерзанная, села. В воротах послышался стук. Анна Сидоровна все забыла. Ей представилось, что это стучится воротившийся муж, который, может быть, рассорился с злодеем Дилетаевым, отказался от проклятого театра и возвращается к ней. При всей своей полноте она скачками пробежала сени, двор и отворила калитку. Перед ней стоял лакей в ливрее. Анна Сидоровна попятилась.

– Чей ты, батюшка? – проговорила она.

– Дилетаевский. Здесь Виктор Павлыч живет? – спросил тот.

– Никакого нет здесь для вас Виктора Павлыча. Убирайтесь, откуда пришли.

– Им письмо барышня прислала, – говорил лакей.

– Какая барышня?

– Наша барышня.

– Дай сюда, – вскрикнула Анна Сидоровна и, вырвав проворно из рук лакея записку, захлопнула калитку; ничего не понимая, ничего не размышляя, она тут же, на улице, начала читать письмо; это была записка от Фани, которая писала:

«Приходите, Виктор Павлыч, сегодня вечером к нам; но только потихоньку, чтоб дяденька не видал; он не любит, чтобы меня другие учили: вы все роли прочитаете. Вы мне очень понравились; как вы славно играете. Пройдите задним крыльцом и спросите меня».

Бедная женщина, прочитав эти роковые строки, сделалась совершенно сумасшедшей. Бросилась было к городничему с намерением пожаловаться на мужа, но там ее дежурный солдат не пустил, потому что градоначальник в то время спал, и сказал ей, чтоб она пришла

вечером в полицию. Возвратившись в свою квартиру, она схватила мужнин фрак, изрезала его вдоль и поперек, кинула сапоги его в колодец и, написав какую-то записку, положила ее на стол, собрала потом несколько своих платьев, перебила затем все горшки в кухне и пошла сначала по улице, а потом и за город. Пройдя около двух верст, она начала нанимать ехавшего с базара мужика отвезти ее в Кузьмищево, сторговалась с ним и поехала. В Кузьмищеве проживали две благородные старые девушки-помещицы, которые принимали в Анне Сидоровне большое участие и просили ее приезжать к ним погостить всякий раз, как закутит ее пьянчужка.

Рымов возвратился домой от Аполлоса Михайлыча часу в пятом. Увидев разбросанное на дворе свое платье, он, кажется, не удивился и вошел в квартиру. Здесь открылось еще более: на полу валялась разбитая чашка, самовар был опрокинут, и, наконец, на стуле лежал изрезанный фрак. Рымов побледнел.

— Этакая дура! — воскликнул он. — Этакой урод безобразный! — продолжал комик и, сжав кулаки, пошел искать Анны Сидоровны;



но, конечно, не нашел.

– Ну, скажите, пожалуйста, – продолжал он, с горькою улыбкою рассматривая свой фрак, – не совсем ли это сумасшедшая женщина! Ну, голубушка, погоди! Ты у меня месяца два просидишь на одном хлебе. Я фрак себе сошью, а ты у меня поголодаешь...

Проговоря эти слова, комик вздохнул и начал подбирать разбросанные вещи. Тут ему попала на глаза записка Анны Сидоровны. Он ее прочитал и усмехнулся.

Анна Сидоровна писала так:

«Беспреренно, вы не увидите меня, я уехала к моим благодетельницам. Оставайтесь с вашими записочками. Дай бог вам нажать другую такую; но я скажу, ни одна не будет переносить столько от вашего пьянства и безобразия, подлый этакой человек.

Анна Рымова».

По самому почерку и подписи фамилии заметно было, что последние слова были написаны в сильном ожесточении.

Для разъяснения и отчасти оправдания странного предубеждения, которое имела Анна Сидоровна против театра, я намерен здесь

сказать несколько слов о прошедшем Рымовых: происхождение Виктора Павлыча было очень темное, и я знаю только то, что на семнадцатом году у него не было ни отца, ни матери, ни родных, и он с третьего класса гимназии содержал себя сам, учив, за стол, квартиру и вицмундир, маленького, но богатого гимназистика из первого класса, у которого и оставался ментором до самого выпуска. Большим рвением к наукам Рымов не отличался, но замечателен был способностью передразнивать: он неподражаемо копировал учителей, трактирных половых, купцов, помещиков на станциях; но, кроме того, представлял даже, как собаки лают, жеребца на выводке, гром с молнией, и все это весьма искусно, чему, может быть, много способствовало его необыкновенно подвижное лицо. В местный театр он ходил всякий раз, как заводился в кармане трехгривенный, и все почти комедии знал наизусть. Звание домашнего учителя, по беспечности характера, ему очень нравилось, и потому, кончив курс гимназии, он продолжал заниматься частными уроками, перебивал по крайней мере в пятнадцати гу-

берниях, попал, наконец, в Москву и поступил к одной старухе, для образования ее внука. У старухи, кроме того, была еще воспитанница, девица лет около двадцати пяти, румяная, полная и очень живая и веселая. С первого же раза она начала с молодым учителем заигрывать: то обольет его водой из окна, то пришьет к простыне, когда он спит после обеда, раскидает по полу все его книги, запрет его в комнате и унесет с собою ключ. Рымову было тогда двадцать два года; он начал шалунье отвечать тем же: напугает ночью в коридоре, кинет ей нечаянно из саду в окно мячом или забьется к ней под кровать, когда она идет спать. Наконец, игрушки их зашли очень далеко. Старуха узнала и обоих прогнала. Бедные любовники поселились вместе. Рымов первый опомнился в своей необдуманности. Бедность была страшная; надежды впереди — никакой, но этого еще мало: приглядевшись к Аннушке, он сильно в ней разочаровался; она была заметно простовата, совершенно необразованна и, наконец, связывала его, что называется, по рукам и по ногам. Но не то было с Анной Сидоровной:

страсть ее день ото дня разгоралась: прямо и вкось, слезами, просьбою и бранью она требовала, чтобы он женился на ней. Рымов долго не сдавался и, между прочим, начал попивать, ничего не делал, а только кутил и буянил. Все сносила Анна Сидоровна и настояла, наконец, на своем, то есть сделалась его женою. С этих пор судьба Рымова и даже сам он изменились к лучшему: он нашел, по рекомендации своего старого товарища, несколько уроков, перестал пить, тосковать, и все пошло как нельзя лучше. Маленькие семейные сцены выходили только из того, что Рымов, как сам он выражался, ненавидел лизанья, а Анна Сидоровна была очень нежна и страстна. В это блаженное время она с каждым днем полнела и развилась до того значительного размера, в котором мы ее встретили. Однажды затеялся в одном доме, где Виктор Павлыч давал уроки, театр; его пригласили; сначала Анна Сидоровна – ничего: была даже рада и очень смеялась, когда ее Витя играл какого-то старика; одно только ей не понравилось, что он, по ходу пьесы, поцеловался с одной дамой, игравшей его племянницу. Но

горько бедная женщина после оплакала эту дьявольскую затею. С другого же почти дня Рымов закутил; начали ходить к нему какие-то приятели, пили, читали, один из них даже беспрестанно падал на пол и представлял, как будто бы умирает; не меньше других ломался и сам хозяин: мало того, что читал что-то наизусть, размахивал, как сумасшедший, руками; но мяукал даже по-кошачьи и визжал, как свинья, когда ту режут; на жену уже никакого не обращал внимания и только бранился, когда она начинала ему выговаривать; уроки все утратил; явилась опять бедность. Все это Анна Сидоровна имела еще силы перенести, бранилась, конечно, иногда, и бранилась очень, но ей готовилось новое несчастье: Рымов подрядился в театральную труппу. Анна Сидоровна сначала и понять не могла хорошенько, что это такое, но потом поняла, когда они переехали в один губернский город, и поняла очень хорошо. Дня по два она сидела без обеда, даже не зная, где муж обретается; наконец, до нее дошли слухи, что он завел любовь с одной актрисой, и этого уж Анна Сидоровна не в состоянии была пе-

ренеть и занемогла горячкой. Безрассудные деяния Рымова и его служба на провинциальном театре продолжались только одну зиму. В великий пост он опомнился и начал сидеть дома, хотя дома едва только был насущный хлеб. Оправившаяся Аня взяла с него клятву, чтобы он никогда и не думал играть на театре.

Рымов поклялся. Один из родственников ее приискал ему место в питейной канторе. Не соображая того, что Виктору Павлычу уже сорок пятый год, Анна Сидоровна ревновала его к встречной и поперечной и даже, для этой цели, не держала ни одной женщины в доме и сама готовила кушанье.

## VII

# Спектакль

Вождественный день представления наступил. Аполлос Михайлыч, Рымов и Юлий Карлыч отправились в театр, часа в два пополудни, для должных приготовлений. Декорациями и мебелью Дилетаев поручил распоряжаться Вейсбору, дав ему, конечно, подробную записку, что и когда нужно. Еще прежде того он настоял, чтобы Никон Семеныч сделал своим музыкантам новые синие куртки и хорошенько бы намылил голову капельмейстеру за леность. Прочие актеры съехались часу в пятом, и приведены были лакеи, за костюмированные в разбойников. В чулане-уборной, нагреваемой тремя самоварами, сделалось чрезвычайно тесно, и потому Аполлос Михайлыч распорядился, чтобы Юлий Карлыч и Мишель в разбойничьи костюмы оделись заранее; первый, конечно, беспрекословно повиновался, а второй по обыкновению поспорил; но, впрочем, за костюмировался и даже сделал себе обожженною пробкою

усы, которые к нему, по словам Дарьи Ивановны, очень шли. Наконец все более или менее было приведено в окончательный порядок. Аполлос Михайлыч причесался и напудрился. Матрена Матвевна тоже причесалась, напудрилась и оделась в богатый, составленный по особому рисунку, костюм маркизы. Фани давно уже была готова.

Роковые семь часов приближались. Актеры начали испытывать волнение, даже сам Аполлос Михайлыч был как-то встревожен. Матрена Матвевна очень боялась. С Фани была лихорадка. Комик сидел задумавшись. Трагик ходил по сцене мрачный. Один только Мишель любезничал с Дарьей Ивановной. Засветили свечи и кенкеты. Публика начала съезжаться, но, боже мой! Эта публика – неблагодарная публика, особенно в провинциях: затевает ли кто для публики бал даже из последних средств своих, и все у него, кажется, напились, наелись, натанцевались, – и вы думаете, что все довольны? Ничуть не бывало... непременно что-нибудь найдут: одни скажут – очень было жарко, а другие – холодно; одним показалась сыра рыба, другие недо-



вольны, что вина мало, третьи скучали, что их хозяин заставлял танцевать, четвертые жаловались на монотонность, – и очень немного осталось нынче на свете таких простодушных людей, которые были бы довольны предлагаемым им от своего брата удовольствием; но театр уже по преимуществу подпадает, как говорят, критике. Я не знаю, что в этом случае руководствует людей: зависть ли, желание ли выказать себя или просто наклонность к юмору, но только смертные очень склонны пересмеять самые прекрасные, самые бескорыстные затеи другого смертного, который и сам, в свою очередь, отплачивает тем же другим смертным, и все эти смертные поступают, надобно сказать, в этом деле чрезвычайно нелогически: сухо поклонится, например, на бале какому-нибудь Алексею Иванычу некий Дмитрий Николаич, которого он безмерно уважает, а он – Алексей Иваныч – нападает на хозяина и говорит, что у него был черт знает кто и черт знает как все были приняты.

В описываемом мною спектакле только первые два или три ряда кресел приехали в

миротворном расположении духа, и то потому только, что они некоторым образом были почтены хозяином; но зато задние ряды, с первого шагу, начали делать насмешливые замечания. Одни говорили, что, вероятно, на сцене будут ткать; другие, что Матрена Матвевна станет целоваться с Аполлосом Михайлычем, и, наконец, третьи, будто бы Фани протанцует качучу для легости босиком.

Раек для купечества и мещанства был гораздо простодушнее: все почти его народонаселение с величайшим любопытством смотрело на колыхающийся занавес, испещренный амурчиками.

– Что это, Дмитрий Андреич, на ситце-то за зверьки? – спросила одна купчиха у мужа.

– Это модный-с рисунок. Особь-статьей, должно быть, такая материя вышла, – отвечал тот.

– Привел, сударь ты мой, меня бог нынешней зимой в Москве видеть настоящий театр. Махина, я вам объясню, необразимая: вся наша, може сказать, площадь уставится в него. Одного лампового масла выходит на триста рублей в день. А дров то есть отпускается на

несколько тысяч, – говорил толстый купец сидевшему с ним рядом, тоже купцу.

В отрицательном состоянии духа были, впрочем, и в райке.

Это пьяный столоначальник.

– Ничего... ладно-с... видали-с... скверно... нехорошо, оставь... молчать... – говорил он тихонько про себя.

Были также миротворные лица и в задних рядах дворянского круга, а именно Прасковья Федуловна, ближайшая по деревне соседка Аполлоса Михайлыча. Она получила от него, по короткому знакомству, тоже билет на одну свою особу; но, не поняв хорошенько или надеясь на расположение хозяина, приехала с двумя дочерьми и тремя маленькими внучатами и всех их преспокойно рассадила около себя. Дочери, конечно, модничали, однако сидели смирно; но внучата тотчас же начали что-то болтать, указывать на все пальцами, и, наконец, один из них, самый младший, заревел. Все это, может быть, не было бы и замечено, но дело в том, что на занятые этою семьею кресла приехали лица, имеющие на них законные билеты. Произошел шум: Прас-

ковье Федуловне никак не могли втолковать незаконность ее поступка. Обстоятельство это было доведено до Аполлоса Михайлыча, который совсем уже оделся в костюм виконта. Как ни неприятно было Дилетаеву выйти одетому на глаза публики, но делать было нечего. Прикрыв себя совершенно наглухо плащом, он вышел и урезонил, наконец, свою соседку, которая, впрочем, обиделась и, оставив одну из своих дочерей, сама уехала домой с прочими домочадцами.

Музыка заиграла французскую кадрили и проиграла ее хотя с известными недостатками, но недурно. Раек захолопал, вероятно потому, что всякого рода музыкальные звуки, худы ли они или хороши, но на людей неизбалованных, то есть почти никогда не слышавших музыки, производят некоторое раздражение в нервах, а этого и довольно...

«Уши хоть дерут, но хмельного в рот не берут!»[25] – пропел басом, довольно громко, столоначальник и покачнулся. Занавес взвился. Первое впечатление было превосходно. Представьте себе голубую комнату, устланную коврами, украшенную драпиров-

кою, прекрасною мебелью, с двумя серебряными канделябрами и с попугаем в клетке. На одном из кресел сидела маркиза в своем пышном костюме. Невдалеке от нее, полуразвалясь, помещался виконт, в бархате, в золоте и кружевах.

– Прелесть, бесподобно, – проговорили в первых рядах.

– Важно наряжены! – слышалось в амфитеатре.

Матрена Матвевна, впрочем, очень сконфузилась, хотя перед представлением, по совету Аполлоса Михайлыча, и выпила целую рюмку мадеры.

– Ах, да, все говорят о вас, виконт... – начала и смешалась.

Аполлос Михайлыч побледнел; но вдова поправилась и, потупив совершенно глаза, очень тихо dokonчила монолог.

Отчетливо и бойко проговорил свои слова виконт. Маркиза опять немного смешалась, но проговорила. Таким образом, все явление прошло не совсем живо, и надобно сказать, что виной всему была одна Матрена Матвевна. Аполлос Михайлыч употребил, с своей

стороны, все и в некоторых местах был необыкновенно эффектен. Для перемены декорации занавес был на несколько времени опущен, и по поднятии его на сцене сидела уже Фани, в своей бедной комнатке. Она тоже немного сконфузилась, но явился виконт, и все пошло бесподобно. По окончании первого действия передние ряды захопали. К ним подстал по-своему раек, то есть захопал, закричал и застучал ногами; музыканты проиграли мазурку Хлопицкого, и проиграли бы ее довольно хорошо, если бы повеса-валторнист не раскашлялся, и, вместо того чтобы отвернуться, он кашлянул в валторну, отчего та, конечно, и издала какие-то странные звуки. В продолжение антракта Аполлос Михайлыч сделал несколько замечаний Матрене Матвевне, и та поклялась не конфузиться больше и не сбиваться. Второе действие сошло тоже хорошо. Правда, что захопали мало: в райке слышалось сморканье и кашлянье, и в неприязненных задних рядах некто сказал, что Аполлос Михайлыч похож на оципанного павлина, а Матрена Матвевна на толстую индюшку и что вся комедия, как сонные порош-

ки, усыпляет. Под конец пьесы, когда виконт упал на колени перед гризеткою и начал умолять ее о прощении, передние ряды кресел захлопали, и к ним опять подстал раек. Но удивительнее всех штуку выкинул столоначальник, которого хмель в жару еще более разобрал. Он вскочил на лавку и закричал: «Браво, господин виконт, браво! Поди сюда, я тебе манжеты-то оборву». Сидевший в креслах городничий тотчас же велел его вывести. Занавес опустился. В передних рядах произошло маленькое волнение, и один из посетителей отправился на сцену. Это был депутат, командированный просить у актеров позволения их вызвать. Аполлос Михайлыч изъявил полное согласие. По возвращении посланного тотчас же раздался крик: «Дилетаев!», а потом: «Всех!» – «Половину!» – прокричал кто-то басом. Аполлос Михайлыч вывел за руки Матрену Матвевну и Фанечку и раскланялся. Это приветствие публики значительно ободрило Дилетаева, который оставался не совсем доволен ходом своей комедии. Затем следовали, как мы знаем, сцены из «Женитьбы». Музыка заиграла «Не белы-то ли снежки». Явно, что

эта песня была по душе музыкантам, потому что они ее играли гораздо громче прочих пиес. Райку, должно быть, тоже она понравилась, и он единодушно захопал, но в задних рядах зашикали, и сидевший на самом последнем месте мужчина, обернувшись, сказал: «Музыке не хлопают-с».

Между тем Дилетаев успел уже переодеться из виконта в лакея. Он зачесал себе все волосы наперед, перемарал все лицо в сажу, заправил брюки в сапоги и ко всем обращался, говоря: «чово, тово, Ванюха», желая, конечно, подделаться к тону простолюдинов. Дарья Ивановна сидела с Мишелем за самой задней декорацией, в темном углу. Трагик для Кочкарева давно уже был готов. Он приделал себе усы и завил в мелкие кольца волосы, утверждая, что Кочкарев непременно должен быть кудрявый. Наконец все было готово, занавес поднялся. Подколесин, как, может быть, неизвестно читателю, лежит один на диване. Удивительное дело, что за смешной актер был Рымов. Едва только проговорил он начальные слова: «Вот как подумаешь этак сам-то с собою, так и увидишь, что действи-



тельно надобно жениться... а то живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится...» – едва только произнес он эти слова, как все разразилось хохотом. Не то, чтобы эти самые слова его были очень смешны, но он сам-то весь, физиономия-то его была очень уморительна. Появился лакей. Аполлос Михайлыч, видимо, старался смешить. Вошел он каким-то совсем дураком, начал почесываться, покачиваться; конечно, тоже засмеялись, но и перестали, и все больше глядели на Рымова. Многие, в переднем ряду, решительно не в состоянии были видеть его лица, хотя в этом лице не было ни одной гримасы; даже он не переменял выражения, а так лежал, как обыкновенно лежат ленивые люди, и от безделья переговаривал с лакеем, не посоветует ли тот чего-нибудь ему насчет женитьбы. Вбежал Кочкарев; и он тоже, подобно лакею, старался играть: горячился, бегал, тормошил Подколесина, но не был смешон. Смех, конечно, не прерывался, но я должен прямо сказать, что производил его один только Рымов. Задние ряды кресел хлопали ему на каждом слове. Сидевший в числе их один офицер от-

несся к своему соседу-помещику:

– Лучше бы этих старых дураков совсем не пускали на сцену, а заставить бы играть одного этого хвата из питейной конторы. Кто он? Целовальник, что ли?

– Да, должно быть, опытный малый – настоящий актер, – отвечал тот. – Посмотрите, *mon cher*, какое у него лицо смешное, а ведь нельзя сказать, чтобы фарсил.

– Совершенно не фарсит, – произнес офицер.

После перемены декорации явилась невеста. Она была тоже очень хороша и премило выбирала женихов. Вбежал Кочкарев, и тут уж все заметили, что Никон Семеныч чересчур утрирует, и над ним уж никто не смеялся; но появился Подколесин, и опять все захохотали. В сцене с невестой он, если можно так выразиться, положил всех в лоск; даже музыканты хохотали, и даже Дарья Ивановна и Мишель, выставившись из своего потаенного уголка, смеялись. Аполлос Михайлыч, стоявший за декорациею, беспрестанно хлопал комику. Затаив в себе всякое чувство самолюбия, он говорил, что эти сцены у них идут

лучше, чем на Московском театре, и тотчас же проектировал в изобретательной голове своей – почтить талант Рымова; но каким образом – мы увидим впоследствии. Раздались крики: «Рымов!» Занавес, по приказанию Аполлоса Михайлыча, был поднят. Публика хлопала, но других никого не вызывала. Трагик был взбешен.

– Я вам говорил, что я не умею играть ваших дурацких фарсов. Очень весело дурачиться, – сказал он Аполлосу Михайлычу, проходя в уборную.

Фанечка с каким-то благоговением начала смотреть на Рымова, Дилетаев с чувством сжал ему обе руки.

– У сердца моего вы, батюшка, вот тут, у сердца! – говорил он, колотя рукою по груди. – Мы оценим ваш талант. Может быть, сегодня же чем-нибудь его почтим.

Комик по обыкновению конфузился и сел в самый дальний угол. Аполлос Михайлыч вышел к публике. Его, конечно, сейчас окружили и начали приветствовать и хвалить.

– Каков комик? Вот что я хочу спросить вас, господа! – сказал он.

– Отличнейший, – произнес белокурый господин. – Он, надо полагать, из настоящих актеров.

– Что актеры!.. Все актеры ему в подметки не годятся, – возразил Аполлос Михайлыч. – Я к вам, господа, с небольшим проектом. Вы – наши ценители и судьи, и вы должны почитать талант. Не угодно ли будет вам, как делается это в Москве, презентовать нашему Рымову какой-нибудь подарок. Я сам, с своей стороны, сделал бы это сейчас же; но я один – не публика.

– То есть как подарок? – спросил один помещик.

– А вот как-с! Есть у меня целковых в сорок накладного серебра ваза. Не угодно ли вам будет сделать подписку по безделице – по рублю или по полтиннику. Чего не достанет, я беру на себя, и потом сегодня за ужином, к которому я имею честь вас пригласить, поднесемте ее нашему таланту – Рымову. Ему это будет очень лестно. Он человек весьма небогатый.

– Это очень возможно, – проговорили многие.

– Так не угодно ли вам взять вот эту бу-

мажку и этот карандашик и написать каждому, кто сколько жертвует. В раек пускать нечего, а пусть подпишутся одни кресла. Если будет больше сорока рублей, это положим в вазу, да и я еще прибавлю, и завтрашний же день, даю вам честное слово, написать об этом в Москву. Пусть тамошние меценаты смакуют да думают, увидав, что и среди нас есть таланты, которые мы тоже уважаем.

Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч передал бумажку с карандашиком и скрылся. Он торопился одеваться в костюм разбойничьего есаула. Подписка тотчас же началась. С удовольствием, кажется, подписались немногие. Иные смеялись, другие не понимали, в чем тут дело, и спрашивали, что это такое значит, и, наконец, третьи подписались так, не зная, что это такое и для чего; впрочем, к концу задних рядов подписка простиралась уже до ста целковых: один откупщик подмахнул пятнадцать рублей серебром.

Между тем музыка начала играть симфонию из «Калифа Багдадского». Печально завывал капельмейстер; вторила ему, хотя немного отставая, флейта, играла с душою виолон-

чель; но и только, вторая скрипка, валторна и там еще два какие-то инструмента были ниже всякой посредственности, но, впрочем, проиграли. Никон Семеныч был весьма недоволен: во-первых, он полагал, что разбойников в задних рядах будет гораздо больше; во-вторых, они были одеты вовсе не по-разбойничьи, а в какие-то охотничьи казакины. Мишель, тоже очень небрежно замаскированный, никак не хотел, по назначению трагика, лежать, а говорил, что он будет стоять. Комик тоже долго отговаривался одеваться старинным подьячим, но Аполлос Михайлыч его уговорил. Более же всего взбесило трагика то, что у лесной декорации не было голубых подзоров, а висели те же белые. Какова же будет картина волжского берега; вместо неба – потолок, тогда как именно на эффектность картины он и рассчитывал. По случаю этих упущений Никон Семеныч много наговорил колкостей Аполлосу Михайлычу, который ему ничего не ответил, а только махнул рукой. Как бы то ни было, только картина составила в прежнем порядке, с тою только разницею, что вместо судьи в позе спящего разбой-

ника положен был всеисполняющий Юлий Карлыч. Актеры, набранные из людей Дилетаева, были поставлены группою взади сцены. Для большего эффекта Рагузов потребовал, чтобы при поднятии занавеса слышалась симфония, и потому музыкантам снова повелено было играть. В половине симфонии занавес поднялся. Картина была, кажется, довольно хороша: в райке слышалось несколько аплодисментов. Музыка проиграла. Никон Семеныч начал; все шло очень твердо, таким образом и кончилось, по временам только смеялись, но над Рымовым ли, который сидел молча и не шевелясь, или даже над самим трагиком, я не могу решить. По закрытии занавеса несколько человек негромко захлопали – кто-то прокричал: «Всех», – но скоро все смолкло. Аполлос Михайлыч начал спешить; он велел музыкантам скорее играть увертюру из «Русалки»; торопил, чтобы внесли на сцену фортепьяно, и, наконец, упрощив Дарью Ивановну сесть за инструмент, сам поднял занавес. Выскочила Фани в трико и воздушном костюме. Все захлопали.

– Важно барышня откальывает, – произнес

купец в райке.

Фани протанцевала, поклонившись всем с улыбкою, как обыкновенно кланяются балетчицы, и убежала. С Дарьею Ивановной Аполлосу Михайлычу опять были хлопоты. Проиграв, она встала и ушла со сцены. Он едва умолил ее опять выйти и пропеть свой романс. Модная дама нехотя вышла, сделала гримасу и запела: раек буквально разинул рот, кресла слушали внимательно. Дарья Ивановна, с прежнею миною, встала и, не поклонясь публике, ушла. Таким образом кончился спектакль, так давно задуманный и с таким трудом составленный.



## VIII

# Ужин артистов

Все кресла, приглашенные Аполлосом Михайлычем на ужин, отправились к нему, — актеры должны были выйти к прочему обществу из задних комнат. Таким образом, действующие лица и зрители соединились: публика приветствовала и хвалила то того, то другого из игравших. Матрене Матвевне одна пожилая дама сказала, что она вовсе не узнала ее в старинной прическе, и очень лестно отозвалась о ее прекрасном платье на фижмах. Офицер благодарил Дарью Ивановну за доставленное ему наслаждение своим небесным голосом, которым она с таким чувством пропела свою превосходную арию, и сравнил ее с Асандри[26]. Трагика расхвалил за его декламацию чудак Котаев. Даже Юлию Карлычу кто-то сказал, что он очень натурально представлял спящего разбойника. С комиком немногие говорили, потому что его никто почти лично не знал; откупщик, впрочем, потрепал его по плечу, проговоря: «Вы недурно

комедии разыгрываете, – право: я никак этого не предполагал!» Перед Фани все рассыпались в комплиментах. Аполлос Михайлыч вызвал некоторых поважнее мужчин в кабинет и что-то долго с ними совещался. Наконец, они вышли; впереди их шел лакей с подносом, на котором поставлена была накладного серебра ваза. Вся эта процессия прошла в гостиную, в которой вместе с прочими сидел комик. Поднос с вазой поставлен был на стол.

– Согласно вашему желанию, господа, – начал хозяин торжественным голосом, – я вызываю нашего великого комика... Виктор Павлыч! Не угодно ли вам подойти сюда, – отнесся он к Рымову.

Тот встал.

– Наша публика, – продолжал Аполлос Михайлыч, – питая уважение к вашему таланту, который всем нам доставил столько удовольствия, желает презентовать вам этот маленький подарочек. Ваши товарищи тоже желали иметь участие в этом деле. Примите, мой милейший! Тут есть мое, Фани, Никона Семеныча, Юлия Карлыча и, наконец, от всей почтенной публики.

Проговоря эти слова, Аполлос Михайлыч опрокинул вазу, из которой посыпалось около сотни целковых; потом, опять поставив ее на поднос, поднял все это и своими руками подал Рымову.

– Примите, мой бесценный, в память нашего приятного удовольствия, которое в сердцах любителей останется навсегда запечатленным, – произнес Дилетаев и поцеловал комика, который стоял как ошеломленный. Сначала он покраснел, потом побледнел; руки, ноги и даже губы его дрожали, по щекам текли слезы.

– Господа! Помилуйте... я не стою-с... может быть, вы желаете мне, как бедному человеку... я и так благодарен... к чему это... – бормотал он себе под нос.

– Сделайте милость, примите, – проговорили многие из мужчин.

– Пожалуйста... мы все желаем, – сказали некоторые дамы.

– Вы всех нас богаче, – заговорил опять хозяин, – у вас на миллион таланту. Все наше – это лепта, которую мы хотим принести на алтарь искусства.

Рымов, наконец, взял, но решительно не находил, что ему делать с подарком.

– Позвольте, я вам помогу, – подхватил хозяин и, проворно уложив в вазу все деньги, велел Юлию Карлычу отнести ее в залу и поставить на накрытый для ужина стол.

– Пусть она, – произнес он, – за нашим артистическим ужином будет напоминать Виктору Павлычу наше уважение к его таланту.

Руководствуясь правдивостью автора, я должен здесь сказать, что, при всем видимом единодушии, с которым была поднесена комику эта ваза, при всем том, что каждый из гостей пожертвовал по крайней мере рубль серебром, а некоторые даже до десяти и более целковых, но при всем этом произнесено было много насмешливых и колких по этому случаю замечаний. «Он бы лучше его самого послал с тарелочкой собирать», – говорил один. «Даст же он завтра себя знать в трактире на эти денежки», – заметил другой. «Желательно знать, что будет он делать с этой вазой? – спрашивал третий. – Должно быть, ерофеич настаивать или пунш варить», – отвечал он сам себе. «Что это за глупые выдумки –

дарить вазу какому-то чудаку. Аполлос Михайлыч совсем из ума выжил; я, как подписывался, так и не понял ничего», – говорил один помещик, разводя в недоумении руками. Но нет, мне грустно передавать то, что было еще произнесено, и скажу только, что более всех восстал Никон Семеныч. Он увел даже хозяйна в кабинет и имел там с ним очень крупный разговор. Многие гости слышали, как Рагузов восклицал: «Как вы позволили назвать меня? Я ваш не мальчик и не лакей – вы прежде должны были об этом мне сказать». Слышавшие все это гости догадались, что Никон Семеныч не желал, по своему самолюбию, подносить вазы Рымову и что Аполлос Михайлыч наименовал его от себя, без спросу. Трагик и хозяин вышли из кабинета очень красны: первый был в совершенном волнении и во всеуслышание сказал, что вазы он не подносил и никогда бы не поднес, потому что Аполлос Михайлыч скоро заставит кучерам своим дарить вазы. Эти слова трагик говорил так громко, что комик, хотя и сидел в гостиной, но, вероятно, их слышал, потому что, разговаривая в это время с Фани, которая

уселась уже около него, он вдруг, при восклицании Рагузова, побледнел и остановился, Никон Семеныч, расстроенный и взбешенный, сел к столу и начал играть ножом.

– Вероятно, ему самому хотелось вазы, – заметил один господин.

– Должно быть! – отвечал разговаривающий с ним. – Горяч – косою заяц, – прибавил он.

Перед ужином, как водится, была подана водка. Лакей поднес ее, между прочим, и к Рымову. Комик смотрел несколько времени на судок с нерешительностью; наконец, проворно налил себе самую большую рюмку и залпом выпил ее. Сели за стол. Рымов очутился против Никона Семеныча. Ужин до половины шел как следует и был довольно молчалив. Хозяин первый заговорил во всеуслышание:

– Я думаю написать и напечатать о нашем спектакле подробный критический разбор. Это необходимо: мне по преимуществу хочется это сделать для вас, Виктор Павлыч! Я полагаю, что после моей статьи вас непременно вызовут на столичную сцену, потому что я

прямо напишу, что у нас есть европейский талант, которому необходимо дать ход.

Но Виктор Павлыч на эти лестные слова хозяина не обратил должного внимания, а занят был в это время довольно странным делом: он беспрестанно пил мадеру и выпил уже целую бутылку. Хозяин заметил, переглянулся с Юлием Карлычем, который очень сконфузился.

– Вдруг мы слышим, – продолжал Аполлос Михайлыч, снова обращаясь к комику, – что наш господин Рымов дебютировал и что аплодисментам не было конца. Недурно бы было, а?

– На шутовские роли и без того там много, – проговорил вполголоса трагик.

– На какие шутовские роли? – заговорил вдруг Рымов, обращаясь к нему.

Лицо комика уже совершенно изменилось: он был красен, и глаза его налились кровью.

– На ваши роли, – отвечал Никон Семеныч, не поднимая головы.

Комик посмотрел на него свирепо.

– Вы, что ли, играете нешутовские? – произнес он, доставая себе, новую бутылку маде-

ры.

– Пейте лучше мадеру, – сказал насмешливо трагик.

– Конечно, выпью-с, – ответил комик и, налив себе стакан, вдруг встал. – За здоровье нашего бездарного трагика, – произнес он и залпом выпил.

Аполлос Михайлыч побледнел, некоторые фыркнули. Трагик вскочил.

– Милостивый государь! – проговорил он, сжимая столовый нож в руке.

Комик откинулся на задок стула.

– Испугать меня хотите своим тупым ножом. Махай, махай, великий Тальма, мечом кардонным! – продекламировал Рымов и захохотал.

– Виктор Павлыч, сделайте милость, что вы такое позволяете себе говорить, – заговорил наконец хозяин. – Никон Семеныч, будьте хоть вы благоразумны, – отнесся он к трагику.

Никон Семеныч пришел несколько в себя и сел. Но Виктор Павлыч не унимался. Он еще выпил стакан и продолжал как бы сам с собою рассуждать:



– Актеры!.. Театр... Комедии пишут, драмы сочиняют, а ни уха ни рыла никто не разумеют. Тут вон есть одна – богом меченная, вон она! – произнес он, указывая пальцем на Фани.

Хозяин только пожимал плечами. Он решительно растерялся. Трагик старался улыбнуться. Некоторые из гостей, подобно хозяину, пожимали плечами, а другие потихоньку смеялись. Мишель, в досаду дяде, хохотал во все горло. Юлий Карлыч чуть не плакал.

– Господин Рымов, замолчите! – вмешался, наконец, откупщик. – Вы забываете, в каком обществе сидите; здесь не трактир.

– А вам что угодно? – произнес Рымов совершенно уже пьяным голосом. – И вам, может быть, угодно сочинять комедии, драмы... пасторали... Ничего, мой повелитель, я вас ободряю, ничего! Классицизм, черт возьми, единство содержания, любовница в драме!.. Валяйте! Грамоте только надобно знать подтверже. Грамоте-то, канальство, только подписывать фамилию умеем; трух, трух, и подписал! – проговорил он и провел зигзагами рукою по тарелке, вероятно, представляя, как

откупщик подписывается.

Тот, конечно, вышел из себя.

– Извольте идти сейчас же вон! – сказал он. – Аполлос Михайлыч, извините меня: он мой подчиненный, я его сейчас велю вывести.

– Господа, помилуйте, сделайте милость, – начал Аполлос Михайлыч плачевным голосом. – Господин Рымов, образумьтесь, почувствуйте хоть по крайней мере благодарность к обществу, которое вас так почтило. Это ни на что не похоже. Юлий Карлыч, уговорите его: вы его нам рекомендовали.

Но Юлий Карлыч, обращаясь то к тому, то к другому, ничего уже не в состоянии был и говорить.

– Что? Благодарность? За вазу, что ли? – заболтал опять комик. – Ох вы, богачи! Что вы мне милостинку, что ли, подали? Хвалят туда же. Меня Михайло Семеныч[27] хвалил, меня сам гений хвалил, понимаете ли вы это? Али только умеете дурацкие комедии да драмы сочинять?

На этом месте Дилетаев не выдержал. Он встал из-за стола, подошел к откупщику и, пе-

реговорив с ним несколько слов, ушел в кабинет. Через несколько минут двое лакеев подошли к Рымову и начали его брать под руки.

– Вам что надобно, скоты! – проговорил он, совершенно уж пьяный; но лакеи проворно подняли его со стула. – Прочь! – кричал он, толкаясь. – Актеры! Писатели! Всех я вас, свинопасов, презираю... Прочь!.. – Но лакеи тащили, и далее затем слов его уже не было более слышно, потому что он был выведен на улицу. Такое неприятное и непредвидимое обстоятельство до того расстроило хозяина, что он более получаса не в состоянии был выйти из своего кабинета. На гостей оно подействовало различно: одни смеялись, другие жалели Аполлоса Михайлыча и, наконец, третьи обвиняли его самого и даже оскорблялись, как он позволил себе пригласить подобного человека в их общество. Последние выговаривали даже Юлию Карлычу, который первый рекомендовал комика. Трагик смеялся над хозяином злобным смехом. Ужин кончился кое-как. Аполлос Михайлыч, наконец, вышел к гостям и начал просить извинения в случившейся неприятности, которой, конеч-

но, он никак не мог ожидать, и вместе с тем предложил на обсуждение общества вопрос: что делать с вазой? По последнему своему поступку Рымов, как человек, не только не стоил подобного внимания, но даже должен быть презрен, а с другой стороны, как актер, он заслужил ее, и она ему была уже подарена. Некоторые говорили, чтобы пренебречь и отдать ему вазу, которая была уж его собственность, другие же отрицали, говоря, что этим унижится общество. Аполлос Михайлыч обратился к откупщику. Тот объявил, что ему все равно, но что он сам накажет Рымова тем, что выгонит его из службы.

– Итак, господа, как человек, он будет наказан, а как актеру, пошлем ему вазу, – решил хозяин и тотчас же велел нести вазу с деньгами к Рымову.

Трагик во всем этом не принимал никакого участия, потому что все это было, как он выражался, гадко и глупо. Одна только Фани жалела Рымова: она даже потихоньку вышла спросить к лакеям, как они его довели. Те объявили, что они довели его хорошо и сдали жене, которая его заперла в чулан. Анна Сидо-

ровна действительно была уже в городе и, мучимая ревностью, весь вечер стояла у театра и потом у дома Аполлоса Михайлыча. Увидев, что из ворот вывели человека, который барахтался и ругался, она тотчас догадалась, кто это, и побежала вслед за ним. Дома она действительно его заперла в чулан. Это был единственный способ вытрезвлять Рымова.

## IX

Не знаю, заинтересовал ли я читателя выведенными мною лицами настолько, чтобы он пожелал знать дальнейшую судьбу их, но все-таки решаюсь объяснить, что чрез несколько месяцев после описанного спектакля Аполлос Михайлыч женился на Матрене Матвевне и после этого, как рассказывают, совершенно утратил любовь к театру, потому что супруга его неожиданно обнаружила, подобно Анне Сидоровне, отвращение от этого благородного занятия, и даже будто бы в настоящем театре она участвовала из одного только кокетства, с целью завлечь старика, который, в свою очередь, женившись, сделался как-то задумчивей и угрюмей; переехал совсем в деревню, начал заниматься агрономиею и писать в этом роде статьи. Матрена Матвевна видимым образом осталась тою же, то есть бойкою, веселою дамою и большою говоруньею. По замечанию всех, она была очень нежна к мужу и даже ревнива, потому что прогнала всех молоденьких горничных, а набрала вместо них старых, безобразных и со-

вершенно непривычных. На Фанечке женился Никон Семеныч, и это дело устроила Матрена Матвевна, которая очень ловко умела влюбить Рагузова в племянницу и заставила ту согласиться. Фанечка, вышед замуж, тоже разлюбила театральное искусство: она даже всякий раз бледнела и краснела, когда муж ее начинал читать что-нибудь драматическое. Дарья Ивановна, после спектакля, очень уж подружилась с Мишелем, так что за нею приезжал муж и увез ее с собою в деревню. У Юлия Карлыча, несмотря на слабое здоровье жены, родился еще сын, и он еще более начал нуждаться в средствах. А комик мой... Бог его знает, что и сказать о нем... выгнанный за последний свой поступок откупщиком из службы, он, говорят, был опять некоторое время на провинциальном театре, потом служил у станового пристава писарем и, наконец, теперь уже несколько лет содержится в сумасшедшем доме.

# Примечания

Впервые рассказ появился в «Москвитянинах» за 1851 год, № 21 (ноябрь).

К работе над этим произведением Писемский приступил, вероятно, не раньше осени 1850 года, то есть в то время, когда уже обозначился успех «Тюфяка». Первое упоминание об этом рассказе встречается в письме к А.Н.Островскому от 26 декабря 1850 года: «Есть у меня в начатке рассказ «Комик», но я его ранее половины или конца февраля не могу окончить»[28]. В феврале 1851 года «Комик» был включен в число тех произведений, которые Писемский обязался по договору с Погодиным «доставить... в продолжение 1851 года» для «Москвитянина»[29]. 10 апреля Писемский уже сообщал Погодину: «Комик» вчерне... готов, стоит только переписать и немного исправить»[30]. Наконец 25 мая рассказ был отправлен шурина Писемского А.А.Майкову для передачи Погодину. В издании Ф.Стелловского «Комик» датирован 18 апреля 1851 года.

Писемский, видимо, опасался, что эпилог



«Комика» вызовет цензурные затруднения, и поэтому готов был заранее примириться с необходимостью его удаления из текста. Однако опасения Писемского не оправдались, и рассказ прошел цензуру без особенных осложнений.

Без какой-либо существенной правки «Комик» был перепечатан в третьей части изданных Погодиным «Повестей и рассказов» Писемского. Некоторые изменения в текст рассказа были внесены при подготовке его для издания Ф.Стелловского. Наиболее заметные из них следующие: во второй главе после слов «...трезвый тоскую, а пьяный глупости творю» (стр. 151) в тексте «Москвитянина» следовало: «...а было для меня и иное время!.. Был театр... подмостки... декорации; я сам все это уставлял... Как теперь помню: начали играть; ну, тогда думали, что всех убьет Сергеев – не вывезло ему, канальство. Я боялся, крепко боялся... тут был строгий судья, великий судья: Михайло Семеныч... Кончился первый акт, вдруг он на сцену, у меня так и замерло сердце – и что же? Гений-то этот подошел ко мне, пожал мне руку: благодарю вас,

говорит, вы растолковали мне роль, которую я прежде не понимал. А?.. Он не понимал! Черт бы драл эти дьявольские воспоминания; придет вот старуха да разревется, что ты думал не об ней... Нечего тут: думай-ко о своей старухе. Она одна тебя на свете любит; что театр? – Глупости».

Там же после слов «...а привык, удивительно привык!» (стр. 152) в тексте «Москвитянина» было: «Весь этот монолог, конечно, Рымов передумал, но не говорил его и только в некоторых местах восклицал и разводил руками».

В тексте издания Ф.Стелловского были изменены также заключительные строки эпизода. После слов «...и он еще более начал нуждаться в средствах» (стр. 212) в «Москвитянине» было: «Комик мой сошел с ума и помещался на довольно странном пункте: он все рисовал подаренную ему вазу и писал комедии в стихах, в которых действующими лицами были виконты и маркизы. Откупщик поместил его на свой счет в сумасшедший дом, а Анну Сидоровну взял к себе в ключницы, которая очень похудела и была как растерянная».

В одной из своих автобиографий Писемский отметил, что в «Комике» «...выведено положение истинного, но сбившегося художника в нашем провинциальном обществе» [31]. В этом произведении недвусмысленно осуждена та мелкотравчатая, развлекательная драматургия, которая в конце 40-х – начале 50-х годов стала занимать все большее место в репертуаре театров. Герой Писемского выступает как убежденный сторонник гоголевско-щепкинского театра. Именно поэтому закоренелый противник гоголевского направления в литературе А.В.Дружинин резко осудил рассказ, говоря, что Писемский пожелал во что бы то ни стало изложить перед читателями несколько воззрений на драматическое искусство, на высокий комизм, отчего вся повесть приняла какой-то дидактический колорит, а ее герой, пьяный актер Рымов, напоминает критика, лет десять занимавшегося библиографией.

Образ Рымова-артиста в известной мере автобиографичен: вспоминая о своем успехе в роли Подколесина, Писемский признавался: «Успех этот описан мною отчасти в рассказе

моем «Комик».[32]

В настоящем издании рассказ печатается по тексту: «Сочинения А.Ф.Писемского», издание Ф.Стелловского, СПб, 1861 г., с исправлениями по предшествующим изданиям, частично – по посмертным «Полным собраниям сочинений» и рукописям.

# Примечания

дядюшка? (франц.).

[^^^]

## 2

образцовое произведение (франц.).

[^^^]

Оседлаю коня... – первая строка «Песни старика» А.В.Кольцова.

[^^^]



мой ангел (франц.).

[^^^]

дорогая Фани (франц.).

[^^^]

## 6

Маленькие синенькие книжки. – Речь идет об издании сочинений Шекспира в переводах Н.Кетчера.

[^^^]

Проклятие! (франц.).

[^^^]

# 8

Умереть!.. Уснуть!.. – слова из монолога Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет».

[^^^]

Дульцинея – имя воображаемой возлюбленной Дон-Кихота, героя одноименного романа великого испанского писателя Сервантеса (1547—1616).

[^^^]

Пале-Рояль – дворец в Париже.

[^^^]

Подождите, сударыня! (франц.).

[^^^]



Катенин Павел Александрович (1792—1853) — поэт, драматург и критик, был также известен как один из лучших декламаторов своего времени.

[^^^]

Очень забавен (франц.).

[^^^]

Живокини Василий Игнатъевич (1808—1874) – выдающийся русский актер-комик.

[^^^]

мой дорогой (франц.).

[^^^]

Шаховской Александр Александрович  
(1777—1846) – драматург и режиссер.

[^^^]

сударыни (франц.).

[^^^]

мой друг (франц.).

[^^^]

Сударыня, я вас умоляю оказать мне честь и взять роль в моей пьесе. В вас столько чувства... Я напишу небольшую арию специально для вашего голоса... (франц.).

[^^^]



Я никогда не играла и не пела на сцене  
(франц.).

[^^^]

...метода самого Ланкастера. – Имеется в виду система взаимного обучения, введенная английским педагогом Дж. Ланкастером (1778—1838), по которой сильные ученики в качестве помощников преподавателя обучали более слабых.

[^^^]

Повторение – мать учения (лат.).

[^^^]

«Калиф Багдадский» – опера французского композитора Франсуа Адриена Буальдьё (1775—1834).

[^^^]

...увертюру из «Русалки» – оперы С.И.Давыдова (1777—1825) и Ф.Кауера (1751—1831).

[^^^]

Уши хоть дерут... – искаженные строки из басни И.А.Крылова «Музыканты»:

*Они немножечко дерут.  
Зато уж в рот хмельного не берут...*

[^^^]

Асандри – итальянская певица, гастролировавшая в России в середине 40-х годов.

[^^^]

Михайло Семеныч – М.С.Щепкин (1788—1863),  
великий русский актер.

[^^^]



А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 31.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 592.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Письма, М. – Л., 1936, стр. 525.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Избранные произведения.  
М. – Л., 1932, стр. 23.

[^^^]

А.Ф.Писемский. Избранные произведения.  
М. – Л., 1932, стр. 26.

[^^^]